



Галип Акаев

**РАВНИНА
В ОГНЕ**

РАВНИНА В ОГНЕ

Галип Акаев

© 2013, электронная версия 2017 «Абусупиян»

ПИСЬМО В ИЗДАТЕЛЬСТВО «АБУСУПИЯН»

Ассалам алейкум!

Узнал про ваше издательство из сайта «Кумыкский мир», который я посещаю регулярно.

Шлю вам рукопись, которую я обнаружил совершенно случайно. И вот при каких обстоятельствах.

Один из моих новых знакомых, узнав, что я родом из Дагестана и интересуюсь историей родного края, обронил невзначай, что в их семье хранится некая рукопись, доставшаяся им от прадеда – ветерана Отечественной войны, в которой упоминается Кавказ и, кажется, – даже Дагестан. Меня это весьма заинтриговало, и я попросил товарища показать эту рукопись мне. Он дал обещание, но выполнить его не спешил. Наконец я сам пришёл к нему домой. Взяв рукопись в руки, я начал читать и потерял счёт времени. Из-за большого количества помарок, исправлений и пометок на полях, чтение затягивалось. К вечеру я добрался лишь до середины. Вернувшись с работы родители моего товарища своим покашливанием указали мне, что желали бы остаться в узком семейном кругу, да и мне не улыбалось оставаться в не очень гостеприимном доме. Домой мне рукопись не дали, но пообещали предоставить в моё распоряжение её ксерокопию. И обещание своё выполнили.

Чем же так сильно заинтересовали меня эти записи. Во-первых, тем, что говорилось в них не только о Дагестане, но преимущественно о моих соплеменниках – кумыках. Во-вторых, меня заинтриговала судьба автора загадочной рукописи. Как мне удалось выяснить, прадед моего знакомого, служивший сапером, обнаружил папку с бумагами в одной из нежилых квартир наполовину разрушенного дома на окраине Варшавы, когда он пробирался к неразорвавшейся бомбе, застрявшей в стене этой квартиры. Мимоходом его взгляд упал на книжную полку с полуобгоревшими книгами. Некоторые из них были дореволюционными изданиями с вполне ещё читабельными русскими названиями на обложках. И вот под ними лежала папка, покрытая копотью, пеплом и толстым слоем пыли. Он бережно засунул её в сумку с сапёрными инструментами.

Вернувшись в распоряжение части, или как она у них там называется, сапер раскрыл папку и начал перебирать листы и читать их содержимое. Чтение, как и в моём случае, так увлекло его, что лишь наступление сумерек прервало это занятие. Рукопись оказалась воспоминаниями эмигранта – человека из бывшего, досоветского мира. На вопросы сослуживцев, что он читает, сапёр, предусмотрительно читавший листы лишь по одному, отвечал, что перечитывает старые письма от жены и родителей, чтобы не сойти с ума. Товарищи понимающе кивали.

Он дошёл до Берлина и вернулся домой с рукописью в вещмешке, а потом, поскольку по гражданской специальности был механиком, специалистом по сельскохозяйственной технике, поехал с ней же по распределению на освоение целины в тогдашнюю Целиноградскую область,

где его потомки живут и сейчас.

А куда делся сам автор воспоминаний? Что с ним стало, и почему он оставил их так неосмотрительно в брошенной квартире? Вероятнее всего, он свои записи спрятал перед арестом и, по тем или иным причинам, не смог за ними вернуться. При этом арест произошёл вне дома, иначе бы рукопись изъяли бы вместе с ним. Возможно и другое, ещё более печальное предположение – автора к тому времени и вовсе не было в живых. Мои запросы через Интернет на предмет его судьбы не дали никаких результатов. Никто о нём не слышал и не читал. Впрочем, это и не удивительно при том пренебрежительном отношении к прошлому, которое преобладает в нашем обществе, находящемся под постоянным натиском культуры потребления, не предполагающей ничего долговечного и незаменимого.

Мне пришлось долго повозиться, разбирая текст, который написан с употреблением ещё дореволюционных орфографических норм и с непривычным написанием кумыкских слов (например, вместо «къ» автор употреблял «к»). Это явно был черновик книги, готовившейся к печати. Увы, по-видимому, война помешала ее вовремя издать. Названия у рукописи не было. Полагаю, ее можно назвать по названию одной из глав – «Равнина в огне», которое выражает суть всей книги.

Эти воспоминания совершенно незнакомого мне человека позволили мне по-новому взглянуть на свою малую родину и свой народ, о котором я и сейчас так мало знаю. Составляя комментарии к набранному и отредактированному мной тексту, я засел за книги, прочитал почти все статьи на сайте «Кумыкский мир», много расспрашивал у старших родственников. В итоге обнаружил, что попавшая ко мне рукопись не только интересна сама по себе. Она располагает к глубоким размышлениям, вдохновляет на новые поиски. Потому я и посчитал своим неременным долгом поделиться её содержанием со своими земляками и вообще со всеми, кому будет интересна эта незаурядная, на мой взгляд, история. Поэтому с большим удовольствием возвращаю имя и судьбу Галипа Акаева нашей с ним Родине.

Мне удалось получить согласие хозяев оригинала рукописи на их издание у нас на родине. Так что в вашей воле её дальнейшая судьба.

Заранее вам благодарен.

С братским саламом Ваш Д. Кариев, Астана, 30 января

ПРОЛОГ

Мне пошёл уже сорок пятый год, но себе я кажусь много старше. Я глубокий колодец, до краёв полный воспоминаниями. Раньше я чаще разрезал их путы, сейчас собираю их вновь в цельный клубок. Может, он меня куда-нибудь, да и выведет, по крайней мере, мне, наконец, будет, что сказать самому себе. Еще лет десять назад я задумывал написать книгу о своей безвозвратной юности, о покинутом отчем доме и о многом другом, что не позволяет мне по ночам отдаться отдохновению сна. Надо было снять с себя весь этот груз, наплыв воспоминаний, впечатлений, поздних мнений о давно прошедшем.

Я перевожу взгляд с исписанного листа на стопку чистой бумаги. В неё нужно переселить круговерти и громады событий, хранящиеся во мне, истязающие мои сны и напряжённо пульсирующие в моём мозгу, словно нарыв, готовый прорваться.

Сколько мне ещё осталось вспоминать каждый прожитый на родине вечер? Вроде бы ничем серьёзным и не болен, но после аннексии Гитлером Судетского хребта, не верится, что доживу до старости. Как хрупко человеческое существование... Война с Германией уже не за горами. Вчера Судеты, сегодня Мемель, а завтра Данциг или сама Варшава. Некоторые из моих земляков, а может, и, особенно, те, которые нашли себе пристанище в Посполитой – экая несуразица, надеются немецкой рукой разбить большевиков и утвердить на Кавказе независимость. Два ворона скорее спойутся, нежели выключают друг другу очи. Будущность всё явит.

Однако же, вернёмся к иному, к предлогу моей беседы с тобой, мой высокоуважаемый читатель. Написать эту книгу меня надоумил редактор журнала «Восток», высокоуважаемый мной Станислав Седлецкий. Года два назад, встретивши меня в редакции «Горцев Кавказа», дружественно похлопывая меня по плечу, он изрёк:

– А ведь кроме тебя никто и не опишет всерьёз и вполне злоклучения, приведшие вас, кавказских патриотов, к нам. Один ты из моих знакомых кавказцев знаешь не только пафос, гордыню и спесь, но и способен на тонкую самоиронию, умеешь видеть себя и своё дело со стороны.

– Вы мне льстите, пан Седлецкий, к тому же, в отличие от прочих я никогда не играл большой роли в тех событиях, на кои вы, сударь, мне намекаете, – возражал я его доводам. Он ко мне обращался как к младшему на «ты», а я наоборот, видя в нём старшего по летам и по заслугам в науке, имел с ним обращение сугубо на «Вы».

– А этого и не нужно. Необходимы дар писательский и честность исследователя, а у вас и того, и другого вполне достало, – продолжал он меня убеждать.

Я ещё пытался было возражать ему, однако же, к концу разговора дал-таки себя убедить.

После этой встречи я сел за стол и начал было сооружать повествовательный план, но несколько раз перечеркнув записи, откинул их в сторону. В течение последующего времени меня отвлекали великие политические события и собственная лень, но те же великие события, о которых я вскользь уже писал выше, подвигли вновь взяться за перо.

Меня охватывает страх перед этой белизной бумаги и тем моим миром, что в любую минуту может уйти вместе со мной. Я становлюсь суеверен: поворачиваю руку ладонью кверху и ищу на ней те сочетания линий, по которым «долгую жизнь и великую славу» загадала мне цыганка из табора, а тогда, это был позапрошлым летом в Карпатах, я не принял это всерьёз, стараясь вырвать у неё свою руку.

Нет, либо в это грозное преддверие роковых дней истории, либо никогда.

Что я пишу? Письменное воспоминание? Или анатомическое исследование нашего поражения? Нет, это и не анатомия, и не память о прошлом, это, скорее, размышления о том, чем наше прошлое становится сегодня.

ДЕТСТВО В КРАЮ МИФОВ

Я рос и познавал жизнь в глухом, но прекрасном в своей первозданной чистоте, краю. Летом там море хлебов, трав и цветов. И вечная тишина тех полей, их загадочное молчание. Мой почти столетний дедушка говаривал, что эти поля густо окроплены кровью, ибо здесь испокон веков живёт воинственный народ. До сих пор отчётливо помню, как 35 лет тому назад, мы с братьями Умалатом, Кайсар-Беком и Акаем носились верхом на молодых жеребятках среди этих полей, воображая себя всадниками самого что ни на есть настоящего конного полка. Мы смеялись, захлёбываясь ветром. Мы поднимались на горы, чтобы посмотреть на зелёные равнины, увидеть, как линии горизонта дышат в такт колыханию волнующихся ветром нив. Мы впитывали краски земли, вдыхали запахи люцерны и полыни пополам с догонявшим нас из дому ароматом свежее испечённого хлеба. И сейчас воспоминания о том, как струятся по агачаульским вечерним улочкам, куда мы часто заворачивали, чтобы погарцевать на зависть прочим мальчишкам, прозрачные кудри дождя, остаются самыми тёплыми из воспоминаний. Вечный мир детства – это единственное, что большевики не отняли у моего прошлого.

Помню, как словно бы всё это минуло менее получаса назад. Помню, как за ресницами плывут и плывут усыпительные облака. Те первые мои 18 лет, прожитые в селе, самые счастливые в моей жизни. Всё это, а ещё легенды, услышанные на Дедовой горе, были моей первой непрерывной радостью, и если нынче кому-то понадобится, чтоб я забыл это невозвратное прошлое, то с ним погибнет часть моего сознания и половина моего сердца.

Про деда говорили, что он умел разговаривать с животными, особенно, с охотничьими собаками. Он знал по именам все звёзды и вообще, он, не умея читать ни по-арабски, ни по-русски, знал столько премудростей, которых нет во всех книгах. Потому и звали его в селе Уста Галип – Мастер Галип. А отца его звали Акай, оттуда и фамилия наша – Акаевы. В молодости мой дед был объездчиком лошадей и следопытом от Бога. Поговаривали, что он водит дружбу с джиннами и умеет читать мысли собеседников. Но более всего людей впечатляло то, что ему под силу было даже хинкал заставить танцевать лезгинку. По крайней мере, они в это верили, и мне тоже хотелось на это поглядеть. Потому-то я и спросил своего деда:

– Правда, что ты умеешь делать чудеса?

– О-о! Кто тебе это сказал?

Я, помявшись от стеснения, ответил:

– Соседские дети.

– Людям, особенно в твоём возрасте, свойственно трепать языком. Запомни это, атдашым, – так он меня называл, ибо у нас было одно имя на двоих. – Если бы я был волшебником, разве жили бы мы столь просто, макая хлеб в воду? Подлинные чародеи – это слова. Одно и то же

слово разумом разных людей воспринимается совершенно противоположно. Некоторых вещей якобы ещё нет только потому, что люди им не придумали названий. А вот мне выпало многое такое знать. Всю жизнь я копил мудрость, общаясь со множеством самых различных меж собой людей. Учился у разумных не только тому, что надлежит делать, но и у глупцов – тому, что ни в коем случае делать непозволительно. И с годами я постиг великую истину, которую дал нам Всевышний, но которую большинство людей ленится постичь. Потому-то многие и полагают, что я вожу дружбу с джиннами.

После этих слов, он, молча указал сначала на небо, а потом на землю и более тихим голосом добавил:

– Всё вокруг – это мы сами, нужно только уметь слышать собственный внутренний голос.

Я ошеломлённо и недоверчиво спросил:

– Только и всего?

– Только и всего, – повторил в ответ мои слова дедушка Галип, а потом через мгновение добавил. – Надо только верить, что всё вокруг именно ты сам, мы – частица неба и земли, и они – наша частица, мы – одно целое. Раньше многие люди владели языком птиц и животных. Пророк Сулейман, например. Чтобы услышать все мелодии окружающего мира надо перестать слушать гудение собственной крови. Подними свой взор к холмам и впусти их внутрь себя. Посмотри в лес и прими его в себя. Впусти в себя мир и живи с ним. Человек не знает, насколько он мал и хрупок, насколько всё в нём зыбко и непостоянно, всё находится в движении мельчайших существ, каждое из которых само по себе чудо. Что уж говорить о вершине божественного творения – человеку. Однако шайтан не дремлет и насылает на людей безумие, заставляя их забывать о долге перед Богом.

– Дедушка, о каком долге ты говоришь? – спросил я с детской наивностью. Мне тогда было не больше семи лет, и открываемые мне дедом истины казались очень сложными и даже непостижимыми, но я их старался запомнить, чтобы, быть может, понять позднее.

– О самом важном, о долге сопротивляться корысти. Жадность – вот самый великий грех, ведь им порождается множество иных. Человек обязан превозмочь в себе алчность, любовь к деньгам и всему ненужному, что на них можно приобрести.

– Разве есть что-то ненужное? – искренне спросил его я, мы хоть и не бедствовали, но жили небогато и я был мало искушён в денежных вопросах.

– Ненужное – это гордыня, опираясь на которую богатый человек обижает бедного, это роскошь и разного рода излишества, из-за которых человек забывает о Боге. Многие люди пытаются деньгами подкупить даже свою совесть. Корысть разъединяет людей и губит даже самые благие намерения. Гордость – она пристала лишь тому, кто перейдёт мост Сират .

Кажется, он сказал именно так, по крайней мере, так я всё запомнил. В тот день я, совсем ещё мальчик, почти ничего не понял и потому сменил тему на более интересные в ту пору для меня вопросы:

– Дед, а почему люди стареют?

– Старение – это как путь вверх по высокой горе. С каждым шагом, поднимаясь все выше и выше, ты устаёшь, идёшь с всё более возрастающим трудом, но когда ты оказываешься на самой вершине, твоему взору открывается самый прекрасный вид на прошлое. Старость не уходит также бесследно, как усталость. Время на вершине горы течёт быстрее, чем в долине, и нет спуска назад, лишь ввысь, к Богу. Невозможно подняться на вершину, не пройдя весь этот долгий, долгий путь.

– Дедушка, а все люди живут как ты до ста лет?

– Нет, конечно. Одни погибают на войне, других сражают болезни.

– А как тебе удалось прожить так много? Ты не был на войне и не болел?

– И воевал, и болезни испытывали моё тело на прочность, – помню, как дедушка лукаво улыбнулся и сказал. - Открою тебе тайну: молоко молодых кобылиц позволяет откладывать наступление старости. Немногие об этом знают, не то бы злые люди жили дольше других и пили бы кровь бедного люда.

– Почему?

– Потому что они одержимы жадностью и сколько бы они не стяжали богатств, им всё мало.

Так у деда тайны мироздания и шутки шли рука об руку. Наш дед был подлинным художником слова, который получал искреннее наслаждение, рассказывая свои истории, и язык его был ярким, образным и не лишен своего рода литературности. Всякий раз, когда у нас с братьями было свободное время, мы шли к нему и просили рассказать одну из его бесчисленных историй и, когда он соглашался, а так было всякий раз, мы вновь на целый час или около того переносились в чудесную страну, где мечта становится реальностью.

– Много тысяч лет тому назад Аллах разгневался на людское неверие и наслал на них всемирный потоп. Он начался после того, как на небе образовалась трещина, которую назвали «Ажи тол». Из этой трещины пошёл сильный дождь. Вода затопила всё вокруг, лишь несколько человек, во главе с Нух-Пайхаммаром, спаслось на построенном им огромном как гора корабле. Этот корабль долго-долго носило по волнам, пока его дно не задело землю. Оказалось, что корабль достиг середины хребта Каф, и Нух решил здесь остановиться. Скоро закончился дождь. Вода вернулась в моря и реки. Покинутый людьми, корабль опустился вслед за водой на каменные скалы и, расколовшись надвое, образовал двуглавую вершину Асхар-Тау, самую

высокую вершину в подлунном мире.

Чаще всего дедушка рассказывал нам о подвигах нартов, об их царстве – стране Къыркъ-Су (Сорокоречье), об их замке на горе Асхар.

– Когда-то почти весь подлунный мир был обиталищем нартов – людей огромного роста и силы..., – сказывал он.

Из его рассказов помню, что нарт, погибший в бою с врагами, становился приближённым Тенгри (древнее имя единого Бога). Каждый из нартов, принося жертву, относил и клал на могилу погибшего долю трофеев, которые он сам не успел получить. Ежегодно в течение пяти лет на исходе лета нарты собирались у могилы погибшего и варили в огромном казане мясо белого коня. Наевшись этим мясом, став вокруг его могилы, плясали траурный танец «шахалай».

Как-то я спросил у деда:

– А почему наш хутор называется Канглы?

С задумчивым видом погладив свою белоснежную бороду правой рукой, дедушка ответил:

– Об этом я слышал много разных преданий. Отец говорил, что это имя древнего народа и что у нас общие корни с бойнаками и кайы. Ты ещё не бывал в Бойнаке и Кайы-Генте, но когда будешь, то там увидишь людей, происходящих от общего с нами отца. И возле Эки-Булака есть хутор, который тоже называется Канглы. Давным-давно его тоже основало наше племя. Что до значения названия, то кумыки и ногойцы говорят канглы на крепкие, обитые железом ворота, и в языке каджаров слово кайы тоже означает «крепкий». Много в этом удивительного. Даже я знаю всего лишь маленькую толику древней истории нашего рода, но у нас сохранилась песня о наших корнях, её пел ещё мой отец. Вот как она звучит.

Дед взял в руки агач-комуз и запел. Привожу строки той песни на память:

Из Канглы наш род, из Канглы. Всё это наше из века в век, из года в год, И в каждом комке этой земли Наших предков и кровь и пот. Из Канглы наш род, И имя ему Канглы. В имени нашем застыла древность, Имя наше значит «Крепость».

Вообще, у дедушки всегда был готов ответ на любой мой вопрос. Например, я как-то спросил его:

– Дедушка, а как появилась земля?

И он мне объяснил, что по его разумению первоначально земля представляла собой каменное тело с огненным нутром. Под воздействием огня в нём образовались глубокие трещины, из них вырвалась кипящая вода, выделившая пар и пену. Из пара образовалось небо, а из пены земля.

– А откуда появились люди?

– Аллах создал мужчину Адама и женщину Хаву, у которых было двадцать пять сыновей и двадцать пять дочерей. От них произошло всё человечество.

От дедушки я узнал, что затмение солнца происходит, когда ангел Джабраил по приказу Господа прикрывает солнце своим крылом, чтобы покарать неразумных.

Вглядываюсь в небо, как много в нём звёзд, как они падают и падают, а всё не заканчиваются. Вот почти прямо над моей головой мерцает Полярная звезда. У нас её называют «Саман ёлу».

– Те горы, которые окаймляют нашу равнину с юга, называются Кап-Таг, они тянутся через всю землю от восточного края земли до западного края. На востоке от нас Хазар денгиз, на западе – Кабарда, Карачай и река Кобан-Су, которая впадает в Кара-Денгиз. По ночам солнце опускается на дно Кара-Денгиза и испаряет в нём лишнюю воду, вот почему Кара-Денгиз до сих пор не затопил землю. В отличие от Хазар-Денгиза, это море течёт подобно реке и потому вода в нём всегда холодная. Благодаря этому, солнце, погрузившееся в море, за ночь остывает, не то бы оно сожгло и испепелило всю землю.

– Дедушка, как тебе удалось ничего не забыть из всего того, что ты мне рассказываешь? – спросил я, поражённый его рассказом.

– Долгие годы я рассказывал их самому себе или моим коням, – дед улыбнулся и добавил. – Этаким образом их точно никак не забудешь.

Улыбка у него была поразительная. Когда она навещала его лицо, длинные и глубокие борозды на лице старца вдруг раскалывались на тысячи мелких горизонтальных морщинок. Так улыбаются леса и сенокосы, каждым листочком и каждой травинкой.

И хотя в училище нас учили, что мир устроен совсем иначе, чем говорил мой старый дед, но приезжая из Темир-Хан-Шуры на вакации в Канглы, я ночи напролёт слушал во дворе у костра дедовские рассказы, а затем, по возвращению в училище, переписывал по памяти всё в толстую тетрадь-брульон, по-нашему – «кьалын тептер». Увы, она потом затерялась среди других бумаг, которые я так и не сумел вывезти перед своим срочным отъездом в 1920 г. Это было ценнейшее собрание легенд, сказок и преданий моего народа. Некоторые из них я помню наизусть, но из большинства в голове сохранились лишь концовки сказок и преданий, а ещё больше – пословицы и прибаутки, которыми он украшал свою речь. Вот некоторые из них: «На свете нет ничего хорошего из сотворенного руками человеческими, чего нельзя было бы улучшить», «Дерево – это каждая из его веточек, каждый листок, по всем им необходимо судить о дереве». «Семена, опущенные в землю, дают всходы».

Помню, одна сказка закончилась выводом: «У лжецов короткие крылья». Всё это, конечно, почерпнуто дедом из народных сказаний, пословиц и поговорок. Но я уверен, у него был

собственный дар к слову, свой стиль. Помню его самые любимые и часто повторяемые выражения: «Нет человека, у которого были бы только враги» и «Вода – самый вкусный и полезный напиток». А как-то раз он поведал мне такую премудрость: «И ещё запомни, мой малыш, такую истину: «Руки опускают лишь тогда, когда ничего не хотят удержать». О моих русских учителях он отзывался с добродушной улыбкой, как человек, принадлежащий к более древней и развитой культуре, нежели они. И сейчас меня не оставляет мысль, что он действительно относился к благородной расе, близкой к изначальному познанию. В некоторой степени он был одним из последних «могикан», то есть носителей духа «могиканства», ведь только тот, кто несёт в себе дух и традиции своего народа имеет право называться его законным сыном. В отличие от моих учителей, Галип не знал, кругла земля или нет, но он знал самое главное – она создана Всевышним для того, чтобы люди на ней творили Добро.

От него я унаследовал любовь к моему Отечеству. Помню, как он, медленно перебирая струны агач-комуза, говорил мне:

– Верю, что эту песню и о нашем Къумукъ Эле пел тысячу лет наш предок Дадам-Коркут :

Да будут стоять вечно твои горы,
Не будут срублены вековые деревья твои,
Не засохнут воды рек твоих,
Не изведает усталости конь твой,
Не утратишь ты надежду свою,
Не сложатся крылья твои
И гореть очагу твоему вовек!

И пусть не всё в этом мире было устроено именно так, как рассказывал мой дед, но когда я перебираю в уме дедовские предания, то ощущаю особое в сердце тепло, словно меня изнутри подогревает крохотная газовая горелка. Без них я был бы иным человеком. Кто-то из моих современников, кажется, это был Зайнал Батыр-Мурзаев, впрочем, и он, без сомнения, повторил древнюю мудрую мысль, сказал, что «всякий народ познаёт себя народом, вглядываясь в свои предания». Что ж, это свойственно и отдельным людям. Мы как бы на единичном примере повторяем судьбу всего своего народа. Похоже, именно это хотел объяснить мне дед 34 года назад, когда сказал: «Помни – зеркало способно отражать человека не только будучи целым, но и когда разбито на мелкие осколки. Так и всякий человек включает в себя обычаи народа, в котором он рождён и обычаи всех людей этого мира».

Последний мой разговор с дедом у меня состоялся летом 1906 г., когда я приехал домой на вакации. Он был болен, поминутно сплёвывал в медный таз, лежащий на глиняном полу подле тахты. Плевки были красными, нехорошими. Как говорил сам дед, имя его болезни смерть и ему уже не выздороветь. Мне было очень страшно за деда, помню, что боялся, что он умрёт прямо у меня на руках. Я еле сдвинулся с места, когда он подозвал меня к себе.

– Помоги мне встать и пройти в сад, – сказал он мне. Говорил он хриплым, почти не

знакомым мне голосом.

Когда я приблизился к нему, он обхватил моё плечо рукой, на которой отчётливо выступали посиневшие вены. С моей помощью, не без натуги, дед Галип встал, подхватил висевший на стене агач-комуз и вышел во двор.

Мы пошли по тропе к саду. Достигнув его, он, глядя мне в глаза, обратился твёрдым, обычным для его прежних лет здоровым голосом:

– Сегодня не буду рассказывать тебе сказок. Ты уже взрослый. Я тебе скажу быль, которую никому не рассказывал. Ни твой отец, ни твои братья не поймут, о чём я им говорю, а ты поймёшь. Я вижу это по твоему лицу, в нём до поры до времени сокрыты большая мысль, большие дела. Как ты знаешь, мне сейчас 100 лет, а может и больше или чуток поменее того. Сам сбился со счёту. Помню только, что родился я за десять лет до того, как Ярмула-пача разрушил Дженгутай. Первым под удар попал наш хутор. Мы не знали, откуда нагрянет враг. Он пришёл с двух сторон – и с севера, и со стороны моря. Мы не ждали оттуда врага, по крайней мере, так скоро, думали, соберём скарб и уйдём к Аркасу. Но объявился предатель, который за большое вознаграждение указал сыну шайтана Ермолову кратчайший путь на Дженгутай. Так мне потом объяснили старшие. Алчность, алчность людская... Она неистребима.

В тот день... была осень, а может напротив того, весна, но какая-то холодная, одно помню точно: шёл дождь. В тот день, конечно, ещё никто не знал, сколь многому пришёл конец. Когда я оглядываюсь назад с вершины моей старости, всё ещё вижу зверски убитых женщин и детей, лежащих грудками вдоль узкой долины, и вижу их так же ясно, как видел тогда детскими глазами. Мужчин не было. Они по тревоге поднялись ещё засветло. Вижу и нечто иное, что умерло там, в кровавой грязи, и похоронено во мгле прошлого. В тот день был убит старый, свободный и прекрасный мир, в котором на первое место ставилось человеческое достоинство...

Так говорил Галип. Его глаза были полны боли и гнева, но вдруг его лицо просияло, словно бы его осветила внезапная вспышка молнии.

– Мы ещё не раз выступали с оружием. И я был в числе воинов. Меня называли Укротителем Коней, потому что я объезжал украденных у баев и офицеров скакунов. Не каждому дано приручить ретивого коня, привыкшего к своему хозяину, а у меня это выходило.

Умалат был у нас вождём. Потом я бил врагов под знаменем нашего льва Ташау-Хаджи, затем – под знаменем другого нашего льва и мудреца Идриса-Хаджи. Позднее некоторое время абречил и только знакомство с собственным десятилетним сыном, которого я до этого ни разу не видел, заставило меня, уже немолодого тогда человека, вернуться домой и заняться единственным нравящимся мне ремеслом – объездкой молодых и буйных жеребцов. Талант этот я унаследовал у отца своего, а он – у своего. Это старый промысел урука Канглы.

Он улыбнулся и продолжил:

– Помню, как русские десять раз упоминали о смерти Умалата, но он вдруг опять объявлялся и шёл на них войной. Мне и сейчас кажется, что мой вожак жив, и затаившись где-то в холмах, ждёт нового восстания, чтобы встать во главе его и повести в бой новое поколение.

– Дед, а как выглядел этот Умалат?

– Роста он был среднего и внешне мало отличался от прочих людей, но вот голос..., его голос не походил ни на один другой. Он был у него по особенному гордый и тихий. Слово «Вперёд!» он произносил так, что это напоминало мне рычание тигра. Если мы не забудем его и тех, кто был под его знаменем, у нас сохранится надежда на спасение, – заключил Галип.

Он смолк. Казалось, дедушка очень глубоко задумался. Спустя некоторое время он с горечью в голосе сказал:

– Они лишили нас свободы, а значит и самого смысла бытия, они разграбили нашу родину сообща с предателями, такими как этот Джамалутдин, жадный до добычи, как кантулук до крови. Вообще, они лишили нас всего, что позволяет обеспечивать людям достойную жизнь, которую от рождения заслуживает каждый. Знаешь, что этот Джамал заявил атлыбоюнцам, когда они обвинили его в захвате их общинных земель. «Не будет оград, земля цельная, она разделов не признаёт. Всё это наследство, доставшееся мне от дяди моего Шамсутдин-Шамхала». Так сказал он. Забыл он, что прежде бий был другом и защитником народа. Раньше бий служил народу, а не народ бию. Нынче же никто не хочет быть биями в истинном значении этого слова, все хотят быть «помещиками». Это ни к чему ведь не обязывает. Вот такие нынче бийи. Ах, что о них говорить?! Если мясо начинает гнить, его солью посыпают, а когда сгнила соль, что с ней делать?

Слово «помещик» он произнёс по-русски, чтобы подчеркнуть его чужеродность для нас. В голосе деда звучал голос нашего края, который и после девяноста лет ига сохранял верность мятежному духу, каковым всегда и был наш национальный дух.

– Мне совсем немного осталось. Дней пять или шесть. Я расскажу всё что помню, а ты записывай. Мне самому не было нужды в записях, потому и письму-то не обучился. Однако те события, о которых скажу, запали глубоко в моё сердце. Ничего не забыл, несмотря на года. Думаю, когда-нибудь, это тебе понадобится. Потому записывай всё, что я буду тебе говорить. Иди за своей тетрадью в дом. Я тут подожду. И принеси козлиную шкуру.

Вскоре он уже восседал на сером камне, покрытом старой козьей шкурой. Как древний патриарх на своём скромном престоле, словно статуя – само ожидание и мудрость, словно нависший над рекой утёс.

Он начал свой рассказ, а я принялся записывать услышанное в тетрадь. Это, как и прежде, был голос воина, он звучал спокойно и уверенно, только уже не гремел раскатисто, а напоминал шелест опавших листьев. Голос осени, голос зимы...

– Нашей слабостью было отсутствие объединяющей всех нас новой цели. Хасан-Хан, Умалат, Ирази, Умар и Махти из рода уцмиев – все они были храбрыми героями, но каждый из них мыслил по-старому, хотел быть ханом. Но время ханов ушло безвозвратно. Был, конечно, и Ташау-Хаджи, самый лучший, самый мудрый, благородный и отважный, Лев Равнины. Но что мог сделать он один против тысяч и тысяч? Одно дерево – не сад, один камень – не крепость.

Он прервался и уставился в ослепительно голубое небо. Ещё полчаса назад он казался похожим на корявую высохшую лозу, но сейчас и в сидячем положении вновь выглядел статным и высоким.

– Настанет день, и мы всё равно победим! – вдруг тихо, но с жаром отчеканил древний оракул, замахиваясь своим посохом, словно бы на самую историю. – Когда на моих руках умирал мой отец, – голос Галипа на мгновение заметно дрогнул, – не думал, что и в сто лет буду так отчётливо всё это помнить, он сказал мне: «Сынок, отомсти за меня, если сможешь!» Я старался выполнить волю, но чувствую, что всё это было не то. Славно мы повоевали, но всё кончилось поражением. Эх, какие герои погибли раньше срока! И некому будет описать то время, чтобы помнили имена предков, чтобы учились у них мужеству. Это нужно не им, а живым. Иначе, потеряв однажды память о том, что было на самом деле, вы получите взамен рассказы о рабстве. И вас будут учить любить своего хозяина, быть довольными своим рабством. Разве не почитанию царя учат вас в школе?... Кхе-кхе... Малыш мой, сохрани всё то, чему я тебя учил. Ты будешь единственной нитью от меня к будущим поколениям. Запомни, самое главное – быть готовым к свободе, не теряться, когда вдруг появится возможность разорвать путы рабства.

Дед кашлянул, отдышался и продолжил:

– Знай, что не всё, что кажется на первый взгляд истиной – истина, ибо мир переменчив, а люди ещё менее постоянны. Истинное воздействие жизни проявляется исподволь, и однажды оно сможет сделать самых немощных самыми сильными, самых малодушных самыми смелыми, самых ленивых – самыми прилежными, самых корыстных самыми самоотверженными. Плохо, что твои братья не хотели меня слушать, а я ведь не однажды звал их. Они другие, нежели ты. Тебе трудно будет одному. Одно дерево – не сад. Один камень – не крепость... Мой маленький сын, то есть твой отец, вернул меня домой. Да, со стороны казалось, что я смирился, но я не перестал воевать, мой покой был только перемирием...

Всё было слышно чётко и ясно, всё до последнего слога. Иногда я слушал рассказы деда, забывая их попутно записывать и лишь потом, после его смерти восстановил их по памяти. Но чаще писал прямо тогда, широкими мазками, запечатлев на бумаге самые яркие из дедовских речений.

На пятый день послышалось сильное карканье ворон, и дед Галип сказал:

– Вороны пророчат скорую смерть. Нет, я не боюсь смерти. Наступило моё время, то время, когда смерть становится частью человека, постоянной его спутницей, она живёт в обнимку с

ним, почти как законная супруга. – Дед улыбнулся. То была его последняя шутка... Через несколько дней его не стало.

*

**

Дед по матери, Камучу Али, был полной противоположностью Галипа. Он был человеком отменно трудолюбивым, но ограниченного ума. Он млел перед офицерами, особенно перед своим хозяином чанкой Шавлухом Алыпкачевым. Люди в эполетах и с офицерскими чинами казались ему существам высшего порядка. Будучи старшим пастухом, с младшими своими помощниками обходился он крайне сурово. Без всяких околичностей бил своих подпасков, жену свою и детей, только скотину не бил. К ней относился с любовью и ценил, как кормилицу и прежде всего как собственность, всё равно свою или чужую. Была в нём эта удивительная черта, которую очень высоко ставили. Ему доверяли пасти даже самых дорогих коней. И землевладельцы, и богатые уздени, и самые нищие батраки были едины во мнении, что именно таким должен быть образцовый слуга. Он точно и умело исполнял всё, что ему поручалось. С Галипом они не переносили друг друга на дух и, хотя не ругались прилюдно и не оскорбляли имени другого за спиной, однако же и тёплых слов не произносили и о здоровье друг друга не осведомлялись. Лишь сухие приветствия и скупые рукопожатия при редких встречах свидетельствовали о том, что они вообще были знакомы. Про таких говорят: «Из разного теста слеплены».

Когда Камучу Али выдавал свою дочь, нашу мать, за нашего отца на исходе восьмидесятих годов прошлого столетия, он только выбился из среды батраков. И породниться с объездчиками княжеских лошадей было для него немалой честью. Но с годами, преуспевая в своей новой работе и обрастая собственным хозяйством, он стал задирать нос пуще иного князя и, будучи крайне недоволен бедностью зятя, отпускал в его адрес целый колчан острых намёков. Отец отшучивался и до серьёзных ссор их разговоры никогда не доходили. В ту пору все в нашем селе были дружны и если иногда ругались, то быстро мирились, притираясь друг к другу, как две песчинки.

Никто за пределами нашей семьи и не ведал об этих маленьких спорах, ибо в нашем доме и сплетни не зарождались вовсе, а если такое и бывало, то уж точно не выходили за его пределы. Сердце матери смиренно принимало все горечи и обиды, безмолвно она реагировала на суровый и скудный быт нашей бедной жизни. Жили мы не особенно хорошо, ели однообразную пищу, но всё же, как я отмечал уже выше, мы не голодали. Кажется, только мы, её дети, были её отрадой, смыслом её жизни и она безумно нас любила, встречая ответную горячую привязанность своих четырёх сыновей. Она радовалась каждой нашей удаче, даже самой малой.

Нам, детям, на хуторе жилось привольно, мы без присмотра, как дикие животные, рыскали в чистом поле. С пятилетнего возраста вместе со старшими братьями я облазил всю округу. Пешими и конными взбирались мы на все горы в округе, и охотились в лесах. Мы бродили поначалу вместе с пастухами, а затем, как я уже писал выше, скакали на конях сами по себе.

Таким вот образом я постигал душу родных мест. Мне нынче кажется, в молодости я всматривался во всё с такой пристальностью, словно бы знал, что через тридцать с лишним лет мне вздумается об этом писать.

Когда мимо проезжала гружённая добром телега, ведомая незнакомцем (большая диковинка в наших краях), все хуторяне выходили из своих домов или шли к нему с сенокосов, и, приветствуя приезжего, предлагали ему зайти в гости отведать холодной колодезной воды, преломить домашний хлеб – круглый как солнце «экмек». А ещё спрашивали, откуда держит путь? Не с Макариевской ли ярмарки? Есть ли у него какие, неизвестные у нас, товары и кого он видел, не скоро ли всех крестьян – тружеников освободят от унижительных повинностей, наложенных на нас «военно-народным» управлением? Гостеприимство и горячий интерес к происходящему в окружавшем нас мире – вот что отличало моих земляков в ту пору.

С тоской вспоминаю ветер средней силы, который на досаду нам срывал еще незрелые яблоки в саду к югу от Дедовой горы. Мы называли его «сорвияблоко». Наверное, никто за пределами нашего хутора так его не называл.

Эти воспоминания освещают и окрашивают мою жизнь. Их никакая тьма не затмит.

В ту пору время летело со скоростью лучшего арабского скакуна. Или это мне сейчас так чудится? День кончался, а за ним с петушиными криками начинался новый. Дни и ночи мчались с удивительной скоростью, сменяя друг друга, сливаясь как строчки на быстро переворачиваемых страницах.

*

**

Идиллия окончилась в 1913 году. В том году отцу исполнилось пятьдесят. Во всём его облике чувствовалась особая здоровая сила в сочетании с некоторой эпической неумелостью, очевидно вызванной постоянным общением с природой. Казалось, ничто не предвещало трагедии. В то морозное утро я проснулся от звука шлепков лошадиного навоза об обледеневшую землю. Сон был неглубоким, очевидно, снилось что-то неприятное. Уже не помню, что именно. Умер отец... Доктор, или точнее фельдшер, сказал, что смерть наступила из-за травмы внутренних органов, вызвавшей обильное кровоизлияние. Бабка с материнской стороны сказала много проще: «Звезда его жизни погасла на небе».

Теперь мы не могли более надеяться на помощь отца. Казалось, мы были обречены на беспросветное существование в глуши. Впрочем, мы с Акаем были не против всю жизнь прожить в родном хуторе, но судьба распорядилась иначе. Нам оказал помощь богатейший из помещиков – Асельдер Казаналипов, благоволивший к нашему отцу. Он оплатил наше образование.

В Кайсар-Беке, как и в Умалате, победило влияние крови деда Камучу Али, им вообще, пожалуй, следовало бы именоваться Алиевыми, а не Акаевыми, настолько мы, будучи сходны

внешне, разнились внутренне. Потому он попросился в военное училище. Асельдер-Бек недовольно покачал головой и произнёс:

– Пустое это дело. Сам служил во имя царя-батюшки. Видел я смерть товарищей, награды, которые иногда доставались героям, а ещё чаще подлецам и льстецам. Видел самого императора Александра II в недолгие месяцы его торжества. Одного только я на войне не увидел – её смысла. Одни мусульмане убивали других мусульман на потеху неверным государям, банкирам, да оружейникам.

– Я не собираюсь воевать с мусульманами, – отозвался покрасневший, видно от досады, Кайсар-Бек.

– В этой стране, особенно в армии, не спрашивают, чего ты хочешь, а чего нет. Есть приказы и их надо выполнять. Ну да ладно. Может так и надо – пройти через огонь, чтобы понять цену мирной жизни. Ну а чего желаете вы, близнецы? – Обратился он к нам, ко мне и Акаю. Начал брат:

– Я хочу получить профессию, связанную с природой, с лошадьми, их здоровьем и питанием, лечить их. Хочу следить за сохранностью нашего леса. В этом году я завершаю училище, – сказал Акай.

– Значит, хочешь быть коневодом или ветеринаром. Это хорошо, – лицо Асельдера сияло от удовольствия, он говорил медленно, словно бы растягивая вместе со словами удовольствие от их употребления. – Нам нужно заботиться о животных и нашей земле. Будут у тебя средства, определю тебе стипендию в память о твоём отце. Замечательный был он человек, но и чудной. Сколько ему не предлагали подарков и больших денег – всё отказывался. Шутил: «В бедной скромности рождён, в бедной скромности умру». А зря, гордыня это, отказываться от помощи. Сам же ведь весь заработок раздавал как «садака» и давал в долг всякому нуждающемуся, даже если не было никакой надежды на возвращение одолженного. Я ему выговаривал за это, а он отвечал мне: «Сегодня удача на моей и вашей стороне. Вы богаты и мне на жизнь хватает. Быть может, завтра грянет революция или война, о приближении которой столько много шума в газетах, и тогда богачи обеднеют, а самый нищий оборванец или батрак вознесётся на вершину власти. Тогда он вспомнит обо мне и одарит меня, также как сегодня его одарил я, а если я не доживу до того дня, то может быть его помощь понадобится моим сыновьям».

Рассказывая всё это Асельдер, по-доброму улыбался, нисколько, видать, не сомневаясь в том, что пророчество моего отца не более чем причуда.

– Ну, а ты чем интересуешься? – Спросил, наконец, Асельдер у меня.

Я в то мгновение очень смутился и оробел, поскольку и сам не знал, какую именно профессию избрать делом всей жизни, наконец, сделав над собой усилие, выдал из себя:

– Всем и ничем одновременно... То есть пока не знаю...

– Как это не знаешь?

– Меня тянет к знаниям вообще, но кем я хотел бы стать по окончании учёбы, пока ещё не решил.

– Знаешь что, давай-ка устрою я тебя для начала в одно место с Акаем. Вы – близнецы, не хорошо вас разлучать. А там, повзрослеешь, поумнееешь и сам выберешь, что тебе по душе.

Необходимо отметить, перед отъездом около месяца у поляка Рачинского, заведовавшего школой в Гелли, мы обучались его родному наречию. Немалое сходство польского с русским позволило и в этот краткий отрезок времени сделать нам определенные успехи, благодаря чему мы без особых затруднений окунулись в польско-язычную среду и совершенно не чувствовали себя изгоями или того более, отщепенцами. Любопытно и требует быть отмеченным то обстоятельство, что прибыв в Варшаву, жили мы сравнительно недалеко от теперешней моей квартиры.

До Великой войны здесь все были увлечены Сенкевичем, Мицкевичем, Бакуниным, Ницше. Последним молодёжь была увлечена больше всего. Я также прочёл пару его работ. Они мне показались чуждыми нашему духу, почти как русский балет, хотя тогдашний эсер, а в последующем большевик Саид Габиев часто публиковал выдержки из Ницше в своей газете, да и многие его собственные строки тех лет – это по большей части размышления и вариации в ницшеанском духе.

Узнав, что я родом с Кавказа, один из соучеников моих дал мне прочесть книгу Матеуша Гралевского и она произвела на меня гораздо более благоприятное впечатление, нежели максимы Ницше. В Варшаве же я впервые (впервые ли?) влюбился. Были бурные эмоции, громкие признания. То есть это всё было с моей стороны. Красивая польская пани лишь лукаво улыбалась в ответ. Ну, кто я такой? Азиат. Очаровательный в своей дикости, но бедный и чужой заморский «басурманин», случайный человек. Она предпочла мне сына мирового судьи, тридцатилетнего буржуа с золотыми часами, висящими на пивном брюшке. Я тогда сильно измучился душевными переживаниями. Но как говаривал дед: «Сильный дождь быстро иссыкает». Потому и «горе» моё было недолгим.

Как-то в училище ко мне подошёл парень, по виду лет на пять старше меня, и заговорил со мной на чистейшем литературном кумыкском языке, притом так правильно и так естественно, что в первые мгновения я даже не обратил на это внимания.

– Ты из Дагестана? – спросил он меня.

– Да.

– Кумык?

Меня впервые в жизни спрашивали, кто я по национальности. До этого в глазах польских сверстников я был то ли грузином, то ли татарин, но тут я впервые услышал имя моего народа.

– Да, – ответил я после небольшого замешательства, вызванного вопросом.

– Меня Солтан-Саидом зовут, а тебя?

– Галип, мы тут с братом. Ты из Темир-Хан-Шуры? – спросил я, наивно полагая, что удивлю собеседника своей догадливостью.

– Нет, из Хасав-Юрта, точнее из Умаш-Аула. А ты?

– Из Канглы.

– А где это?

– Это хутор чуть севернее Дженгутая.

– Ясно.

Далее мы заговорили о Родине и её проблемах, сошлись на том, что они требуют скорейшего разрешения и, по всей вероятности, это святое дело не обойдётся без кровопролития. Последняя мысль меня несколько настораживала, но не Солтан-Саида, восхищавшегося деятельностью Боевой организации эсеров. Он организовал что-то вроде политического кружка. Я посещал его пару раз, но затем, к великой его досаде, предпочёл кружок польских социалистов, не в последнюю очередь, должен признаться, очередь, чтобы подучить польский. Ему, однако же, удалось овладеть умом и сердцем моего брата.

Летом 1914 г. началась Великая бойня. На границе шли затяжные бои, не в пользу русского оружия, однако. Несмотря на то, что мы с братом, будучи мусульманами, не подлежали мобилизации, война затронула нас самым прямым образом. Немцы подступили к самой Варшаве и весной 1915 г. наше учебное заведение срочно эвакуировали в Харьков. Здесь дела потекли было обычным образом, единственно, к ним прибавился почти поминутный страх за жизнь наших братьев, сражавшихся на передовой.

В начале 1916 г. мы с братьями встретились в Минске. Все четверо. Грустно это вспоминать, никто не ожидал, что скоро нас постигнет ещё одна утрата. Конечно, шла война, гибли миллионы людей, но мы, по крайней мере, я, хранили внутри себя убеждение, что несмотря ни на что, оба мои брата, служившие в кавалерии, выживут и беда обойдёт нас стороной. Но всё сложилось иначе. Летом того года Кайсар-Бек привёз домой чёрную весть – Умалата не стало. Он погиб во время одной из контратак в Карпатах. Кайсар-Бек с жаром объяснял нам с Акаем и матери, насколько героической и прекрасной была смерть нашего старшего брата, но маминих

слёз это не остановило. Трагическая весть её сломила, она таяла на глазах, поэтому поговорив с братьями, я решил остаться дома и приглядывать за ней. Кайсар вернулся на фронт, а Акай – в Харьков.

По хозяйским делам я был вынужден выезжать в Темир-Хан-Шуру на базар и бывать в тамошних мастерских. Город меня неприятно поразил тем подчёркнуто колониальным видом, от которого я за четыре последних года успел отвыкнуть. Хотя Варшавская губерния, по сути, была такой же колонией империи, как и Дагестанская область, но поляки из всех сил старались этого не замечать и жили собственной внутринациональной жизнью. Ничего подобного невозможно было наблюдать в умах жителей нашей столицы. Помню, мне в голову тогда пришла мысль, будто бы Шура была выстроена именно ради того, чтобы свидетельствовать: «Что бы вы о себе не воображали, но вы лишь одна из самых бедных колоний великой империи». Империя эта, однако, трещала по швам.

ВЕСНА 1917 ГОДА

В феврале случилась Великая революция, но я был отвлечён от неё трагедией – смертью матери. Она угасла прямо на руках моих, зовя по имени моего отца и покойного брата. Ни Кайсар, ни Акай на похороны не успели. Все хлопоты были на мне, ну и конечно на её отце Камучу Али. Он совсем осунулся. Смерть дочери сильно его поразила. Он был очень ласков ко мне, хотя прежде со мною лишь ругался. Верно, ему было очень одиноко. Ведь рядом не было его любимого внука Кайсар-Бека...

О революции я узнал лишь спустя десять дней после отречения царя. Я полагал ещё за год до того, что дело клонится к свержению царя, но всё равно долго не верил и лишь когда вести о свершившемся в столице стали подробнее и начали поступать из нескольких источников разом, я осознал: «Империи больше нет».

С Акаем мы встретились лишь во Владикавказе на съезде народов Кавказа. Это было, пожалуй, одно из величайших событий в истории народов Кавказа. Мерещилось – всё в наших руках, всё решаем мы сами. Это приятное заблуждение опьяняло массы. Люди разных наций шли рука об руку, все равны и ни у кого нет претензий друг к другу. Все были одержимы иллюзией нерушимости слов. Столько славных лозунгов было сказано в те дни.

Один из докладчиков заявил: «Мы говорим: кто задевает одного из нас, тот задевает всех нас!» И тысячи пар рук наградили его полными искренней страсти аплодисментами. Мы верили в единство всех кавказцев и всех мусульман в единой демократической российской республике. Нужно было только избрать депутатов в Учредительное собрание и тогда всё решится само собой. Так наивно мы полагали в то скоротечное зыбкое время.

У каждого человека на дне воспоминаний, как золотой песок после промывки, лежит какая-нибудь картина – яркая, любимая. Одной из подобных картин для меня является память о первой поездке в Балкарское ущелье. Подумать только, этой судьбоносной поездки не случилось бы, если бы жажда не загнала нас с Акаем в ближайший духан, который, что естественно в такой знаменательный день, был забит до отказа. Лишь за одним столом было три свободных места. Но там уже восседал некий молодой человек, примерно одних с нами лет, щеголявший в новых с иголки черкеске и папахе.

– Ас-саламу алейкум, рядом с вами свободно? – обратился я к нему на русском.

Он с любопытством нас оглядел, мы вероятно и взаправду представляли любопытное зрелище: близнецы в одинаковых европейских костюмах, привезенных из Варшавы.

– Ву-алейкум салам. За моим столом всегда найдётся место для братьев кавказцев, даже если они выражены французскими рантье .

Акай, по природе более вспыльчивый, чем я, ответил наглецу:

– По-вашему, одежда определяет и всё прочее? Если у вас нет понятия о значении слово вежливость, я не имею надежды вам его внушить.

– Извините мне неуместную шутку, просто не удержался. Присаживайтесь, господа.

– Что же, учтя те непреложные обстоятельства, что упомянутые вами французы наши союзники в войне с Германией и в ногах правды нет, мы прощаем вас, – ответил я за себя и Акаю.

Мы плюхнулись на старые стулья и тут же попросили у духанщика принести графин холодной воды.

– Откуда вы родом? – спросил усердно изучавший наш внешний вид юноша.

– Мы из Дагестана, – сухо ответил Акай.

– Кумукла? – спросил нас наш новый знакомый по-балкарски.

– Дюрбиз, кьумукъларбыз, амма сен кимсан? – переспросил я его с удивлением?

Дальнейшая наша беседа продолжалась на кумыкском и балкарском языках, но для удобства читателей, не владеющих нашим языком, я приведу сохранившийся в памяти текст нашей беседы по-русски.

– Я же вам не представился! Будем знакомы, Магомет Безенгиев.

Балкарец протянул руку мне.

– Галип, – назвался я, пожимая ему руку.

Через секунду тоже сделал мой брат.

– Вы приехали на съезд?

– Конечно!

– И как он вам понравился?

– Грандиозно. Тут собрался весь Кавказ, все его бесчисленные народы и племена, – с восторгом ответил за нас обоих Акай.

– А какие слова! Идеи! Мысли!

Магомет обладал столь открытым характером, что вскорости мы сделались с ним близкими друзьями, хотя от начала нашего знакомства не прошло и нескольких часов. Когда мы решились

покинуть его общество, он решительно запротестовал.

– Не может быть и речи о столь скором расставании. Друзья, отсюда рукой подать ко мне домой и потому надеюсь, вы не откажете мне в законном праве гостеприимства?

Сколько мы не отпирались, не отступал и он, наконец, мы с Акаем, посоветовавшись, дали своё согласие.

В дороге из Владикавказа в родное селение нашего друга выяснилось, что он, как и мы, родом из узденьского сословия, но отец его благодаря положению эмчека одного из богатейших таубиев их общества и собственной сноровке, сумел добыть себе некоторое состояние, позволившее дать старшему из сыновей университетское образование. Магомет очень стремился быть полезным семье, но из-за отстранения после начала 1914 г. одного из чиновников кавказской администрации, благоволившего отцу, его собственные дела шли не самым лучшим образом. Он так и не получил желаемого места и в основном помогал в отцовском хозяйстве, ведя некоторые торговые операции во Владикавказе и в Вольно-Магометановском ауле. В свободное время он много читал и увлёкся под воздействием прочитанного идеей общемусульманского братства. Он грезил всемусульманским халифатом, но во главе не со слабовольными константинопольскими султанами, а высоконравственными и образованными патриотами, среди которых он первыми называл имена Ахмета Цаликова и Басиата Шаханова .

– Для этого нужна только победа немцев и турок над англо-французами, которые угнетают мусульман Египта, Индии и Северной Африки. Как только весть об их поражении достигнет колоний, как там вихрем произойдут народные восстания, наподобие того, что было у нас в Петрограде, – грезил он вслух. Вообще он был утопист самой высшей пробы. После тех нескольких дней проведённых вместе, я видел его ещё только раз, в самый разгар подготовки к восстанию против Деникина. И при обеих встречах он был оживлён, полон надежд и жизнерадостности.

Наконец, переночевав на постоялом дворе, вечером второго дня мы приехали в прекрасную долину, окаймлённую лесистыми хребтами.

– Вот она моя Родина – вершины гор, стремительные реки и между ними зелень полей, сияющая как драгоценные камни, – провозгласил Магомет.

«Сау бол, Балкар эл – нарт эл» («Здравствуй Балкария – страна нарттов»), – прошептал я про себя на кумыкском.

Вскоре мы въехали в аул нашего друга. Дом его отца располагался в центре села и сильно выделялся своим внешним убранством среди прочих.

Далее нас в соответствии со всеми ритуалами гостеприимства ввели в жилище, после чего Магомет познакомил нас со своей семьёй. С отцом, человеком ещё не старым, но по виду

серьёзным и бывалым, с матерью, женщиной, чей облик был самой яркой иллюстрацией материнства на Кавказе, с младшим братом, юношей лет пятнадцати и со своей шестнадцатилетней сестрой.

Когда он знакомил меня с ней, у меня сердце в груди словно подскочило. Такого со мной никогда раньше не было. Даже с той польской пани, которая вышла замуж за парня с золотыми часами. Звали её, как героиню восточной сказки Асли-Хан, или просто Асли, то есть Истинная, Настоящая. Имя ей подобрал её отец, как оказалось, не только успешный торговец шкурами и сафьяном, но и большой ценитель восточных дастанов .

Словно бы это было минутой назад, помню, как мне в голову пришли древние строки из гимна любви:

Ты красивее всех девушек,
как высокая гора выше мелких гор,
Твоя мать любит тебя,
как солнце своим светом.

Я еле сдержался, чтобы не огласить их. С трудом погасив сжигавшее меня изнутри огонь и стараясь не думать о ней, сосредоточился на планах Магомета, желавшего устроить для меня и Акая экскурсию на гору Безенги-Тау.

Я влюблённый в Приэльбрусье ещё с самого раннего детства, но знавший о нём только из преданий моего деда, наконец, увидел его воочию во всём его великолепии. Мы прошли башню Джабоевых и любовались великолепием природы. Горы белоснежные до самого подножия усиливали сияние неба. Мы поднимались выше и выше. Начали взбираться на Безенги-Тау. На высоте трёх с половиной вёрст тишина аж звенела в ушах. Оказывается, и у тишины бывает эхо! Мы выбились из сил, к тому же, несмотря на нашу тёплую одежду, мороз всё равно пробирал. Захворать посреди мая в наши планы не входило, и посему, мы отправились в обратный путь.

– Ничего, что на самую вершину не забрались, это очень опасно, а у нас нет с собой необходимого снаряжения, – сказал Магомет, когда мы возвращались вниз.

Когда мы спустились с горы, наступили сумерки, усталые и голодные мы вернулись в аул. Моё сердце колотилось. Нет, не от усталости и не от ожидания вкусного ужина, а от предвкушения встречи с красавицей, нечаянно покоровившей моё сердце. Я думал, как ей дать о том знать, но никак не решался. Только краснел от стеснения. Слава Аллаху, Магомет и Акай, делившиеся яркими впечатлениями от нашего путешествия, не поняли причины моей молчаливости и отнесли его на утомление.

Итак, я не нашёл здесь волшебного замка нартов. Но в доме своего нового друга Магомета я встретил самое истинное сокровище, мою Асли.

И ещё в Балкарии я понял – свобода моей Родины невозможна без свободы и этой родной нам земли.

ЛЕТО 1917 ГОДА

Вследствие того, что дагестанская либеральная интеллигенция в отличие от русской не имела почти никакого опыта политической борьбы, революцию она встретила с едва сдерживаемой сонливостью. Почти всем заправляла молодежь, среди которой даже я в свои 22 мог прослыть чуть ли не стариком, настолько молод был дагестанский политический элемент. Его лицом были даже не студенты, а ученики старших классов или в лучшем случае вчерашние выпускники реального училища. Посему прибыв по Владикавказской железной дороге в Темир-Хан-Шуру, я первым делом нашёл своих однокашников по реальному училищу Гаруна Саидова и Казбека Макашарипова. Они уже в первую неделю моего пребывания в городе свели меня с Зайналом Батыр-Мурзаевым. Его я запомнил молодым, задорным юношей – ровесником, с мохнатой шевелюрой («къалын тюклер»), вызывавшей насмешливые улыбки на лицах немногих шуриных рабочих.

Зайнал в первые же минуты нашего знакомства рассказал мне о созданном им в Хасав-Юрте просветительском обществе «Танг чолпан» и о своих друзьях Абдулатипе Салимханове и Умалате Джамбулатове. Тогда всё было стремительно, и знакомства, и общение, и принимаемые решения.

– Мы думали поначалу назваться «Асхар-Тау» или «Авамлыкга каршы» («Против мрака»).

Услышав об Асхар-Тау, я ошеломлённо спросил:

– Ты тоже знаком с преданиями моего деда Галипа?

– Какими преданиями?

– Мой дед много рассказывал мне о горе Асхар-Тау..., – и я вкратце пересказал Зайналу легенды, услышанные мной от деда.

Его всё очень заинтересовало:

– Это же золотая жила! Живой голос прошлого, фольклор, это нужно срочно опубликовать, – заявил он мне. – Я-то про Асхар-Тау знаю лишь из стихов Казака.

– Казака? Мне дед говорил про него, в Варшаве я читал его стихи в Лейпцигском издании. Хотел бы поближе познакомиться с его творчеством.

– Это легко. Абу-Суфиян издал книгу его стихов.

– Какой Абу-Суфиян?

– Ну и одичал же ты в своей Варшаве! – Зайнал, помню, улыбался не только ртом, но и

глазами. – Он наш первопечатник, выпустивший в свет множество ценнейших кумыкских книг на аджаме .

Я со стыдом признался, что не умею читать на аджаме. Умел читать на русском, немецком и польском, даже немного по латыни, но на родном своём языке я не был способен прочесть ни строчки. Вот они, издержки гимназического образования, отрывающего чада от родной культуры.

– А про Темир-Булата ты слышал, невежда этакий?

– Да, я немного слышал о нём.

– И чего же именно? – в голосе Зайнала слышался неподдельный интерес к моему мнению.

– Это человек большой души, он как-то пытался создать театр для нашего народа и, слышал, он и теперь не оставляет этой мысли, – я постарался быть на высоте.

Лицо Зайнала вновь просияло.

– Истинно так! И более того, мы решили объединить наши усилия и начать выпуск первого журнала на кумыкском языке. Сегодня же я тебя с ним познакомлю.

Густые усы, крупные черты лица гармонировали с большим размером его головы. Но самое яркое впечатление о Темир-Булате создавали его большие умные и, как мне показалось, грустные глаза. Когда лицо Темир-Булата загоралось вдохновением, оно делалось изумительно красивым и производило неизгладимое впечатление. Такое лицо никогда не забудешь. Его слова также оказывали на меня большое воздействие своей вескостью и убедительностью, которое было невозможно преодолеть. Помню, что впервые, когда я его увидел, он говорил на собрании интеллигенции:

– Не нужно бороться с порабощением, опираясь на ненависть, правильнее всего бороться за свободу и призывать на помощь собственную любовь к тому, за что борешься. Только она может быть источником всепобеждающей мощи.

Он призывал образованный класс к соединению во имя развития нашей самобытной культуры. С этой целью и было создано возглавляемое им театрально-литературное мусульманское общество.

– Кто в городе особенно заметен из наших интеллигентных соплеменников? – спросил Темир-Булат.

Фельдшер Гаджи Алхасов флегматично (он явно с трудом переносил жару – лето выдалось знойное) сказал:

– Если надо, прямо сейчас накидаю список.

– Сделай милость.

В тот же день был составлен не только список интеллигентов Темир-Хан-Шуры, но и написано предварительное объявление об основании журнала «Танг Чолпан» (название было предложено Зайналом). У меня до сих пор сохранился отрывок из того объявления. Вот его содержание, которое было мной собственноручно списано с оригинала:

«Не дешево отдал Дагестан свою свободу и это все свое прошлое, пока дошел до нынешнего состояния – утери своего народного облика; с одной Россией он вел борьбу почти непрерывно в течение более трехсот лет. В этой борьбе фигурируют как отдельные разумные правители, так и даровитые и достойные восхваления военачальники и герои. Все это требует особенно с нас ознакомления и серьезного изучения и большого интереса к себе. Индифферентное отношение к этому есть преступление, граничащее с изменой своей религии и народу. Пока же мы видим, что все это заброшено и забыто народным невежеством; правители наши этому виной или другие, им Аллах судья. Но мы, братья дагестанцы, теперь сознавая все это, примемся, удвоив энергию, за священное дело просвещения родного народа, во имя свободы справедливости, равенства, во имя того, кто каждого из нас создал человеком, а не животным. Не будем тратить золотое время и свои силы на бесплодные споры, на каком языке нам следует просвещаться. Нынешний кумыкский (джагатайский) язык, очень древний, на нем говорили и наши предки тюрко-татары во времена своего государственного могущества. На этом языке они достигли апогея процветания своей культуры, остатками которой восхищается весь культурный мир».

Как видно, здесь убедительно торжествовали здравый смысл и традиции. Совсем иные речи держала меж собой революционная молодёжь, выступавшая не столько за свободную печать, сколько за свободную любовь. Среди всех этих развязанных хулиганов, мнящих себя вершителями будущего, редким светлым исключением был всё тот же Зайнал, который жаждал соединить два поколения и два течения мысли: национализм и революционный радикализм на грани анархизма.

– Быть на высоте – одинаково трудная задача, как в политике, так и в искусстве, ибо быть на высоте означает быть на высоте всех времён. Это означает способность своей правдой преодолевать все временные промахи и неудачи, – так с точки зрения морали он выражал свои идеи.

Не по годам умственно развитый, он имел притом чистую душу ребёнка. Над его добротой и наивностью немало потешались шуринские рабочие, видевшие в нём чудаковатого юнца-желторотика. Как это было не похоже на плутовство Дахадаева, нищестанство Габиева и нигилизм Казбекова!

В то время, когда молодёжь много и ярко говорила на митингах о революции, старшее поколение судорожно пыталось сформировать, хотя сколько бы то ни было дееспособные

органы власти. Учитывая то обстоятельство, что, несмотря на свою малочисленность, интеллигенция была расколота на десяток мелких партий и групп, каждая из которых считала себя наиболее верно отвечающей духу революции, это представлялось делом нелёгким, если вообще возможным.

Кадеты за годы мировой войны сильно поправевшие, не могли больше удовлетворять областного инженера Зубаира Темир-Ханова и ещё в 1916 г. он сформировался если не в революционера, то, безусловно, в умеренного социалиста, наподобие Керенского, но более дельного. Больше всего он не любил кровопролитие и вообще, скорее всего с трудом разбирался в ситуации, сложившейся в центре и надеялся на торжество там государственных тенденций. Как-то у Даитбекова он отчитал Коркмасова за «революционное оборончество», заявив, что страна и люди дороже революционных идей. Критикуемый с улыбкой на лице назвал Зубаира Ага-Разиевича оппортунистом и приспособленцем. Меня тогда это слово покорило, ибо я всегда был сторонником широкой социалистической коалиции и не терпел в этом вопросе идейного сектантства. Я был самым молодым и, не рассчитывая, что мне дадут право голоса, внимательно слушал диалог Темир-Ханова и Коркмасова. Со стороны это менее всего напоминало политический спор, скорее перепалку двух старых друзей с различным жизненным опытом. Так оно и было.

– Зубаир, вы прекрасно жили при бывшем режиме, более того, многие в шутку называли вас «дагестанским губернатором» из-за вашей тесной дружбы с областным начальством и теперь вы учите нас революции? – вопрошал его с усмешкой Коркмасов.

– Пардон, но то было только при Дадешкилиани, а при Ермолове я был отодвинут приезжими назначенцами. Впрочем, откуда вам это знать, вы более одиннадцати лет были оторваны от своего отечества?

– О да. Георгий Тенгизович безусловно прекрасный человек, иначе бы он не женился на девушке, воспевающей в своих стихах грузинских инсургентов. В личных качествах его я не сомневаюсь, однако же, по долгу службы он такой же сатрап, как и названный вами Ермолов или иной чиновник военно-народного управления.

– Я так не считаю.

– А я считаю, он добросовестно выполнял приказы старой власти.

– Как и я!

– Но не я!

Темир-Ханов, в свою очередь, ухмыльнувшись, парировал:

– Ну, конечно, вы же анархист, профессиональный революционер. Вы не терпите над собой

никакой власти – это ваша натура. А вот я готов служить любой власти, лишь бы это сопрягалось с моим служением Родине, которую я горячо люблю.

– Я в этом не сомневаюсь, но и я люблю её. В этом мы едины. Но в отличие от вас я не иду на компромиссы с властью. Служить своей родине для меня значит служить её освобождению.

Последние его слова меня словно бы заморозили. Как точно он выразил и мои внутренние чувства. Надо его привлечь в нашу коалицию. Когда я заикнулся об этом Темир-Ханову, он отмахнулся:

– О союзе с Коркмасовым не может быть и речи, иначе мы поссоримся с «Джамият уль-Исламие» и, самое главное, с самим Даниялом Апашевым. Союз с Коркмасовым нам не простят и мы потеряем власть, которую с таким трудом получили.

– Но без него мы её тем более потеряем, – возразил я Темир-Ханову.

– Ты ещё молод и ничего не смыслишь в политике, – отпарировал он мне не без дразнящей снисходительности в интонации.

Надо сказать немного о вышеупомянутом Апашеве. Его уважали и побаивались. Это был классический тип русского помещика, возвращённый на дагестанской почве. К этому следует присовокупить, что, будучи по натуре своему более чем гибким, он заслуживал и звания «человека скользкого». Выдумывать партии и партийные программы было для него как бы развлечением. По своим истинным взглядам он был не левее октябриста, однако злоупотреблял вперемешку левыми и шариатистскими фразами. Но хуже всего была его дружба с муфтием Гоцинским, весьма его усиливающая и заставляющая с ним, скрепя сердце, считаться.

Ни один человек в Дагестане не шёл к власти так упорно как Джелал Коркмасов. Что я могу сказать о нём? Человек огромной энергии и силы воли, он мог бы явиться прекраснейшим лидером для нас, борцов за национальную свободу, но выбрал путь социалиста, как и Уллу-Бий Буйнакский, на которого у меня также поначалу были огромные надежды.

На очередном заседании созданного по инициативе Буйнакского «Просветительско-Агитационного бюро» Зайнал читал своим по-мальчишески звонким, и полным некой неопишуемой свежести, голосом чеканные строки:

Тувду чолпан, танг билинди,
Болду уянма заман,
Шавла алды дюнъя юзюн,
Юхлагъаныбыз таман.
Гёзюнг ач! Дёрт якъгъа къара,
Гетди кериван эртерек,
Биз гечигип къалгъанбыз,

Энни уянма герек!
Звезда родилась, заря занялась,
Пришла просыпаться пора,
Свет открыл лицо мира,
Хватит нам спать.
Открой глаза. Осмотрись по сторонам.
Ушёл караван с утра.
Мы от него отстали,
Пришла просыпаться пора!

Несмотря на то, что заголовок «Посвящение националисту» и вызвал некие кривотолки среди наших штатных и заштатных интернационалистов, но по своему содержанию и звучности стихотворение пришлось по нраву всем собравшимся.

Во время Андийского съезда я впервые побывал в горах Дагестана и меня поражали удивительные дома в аулах, издали больше похожих на пчелиные соты, индейские наряды пожилых обитательниц этих местностей. У некоторых из них на голове были и вовсе невообразимые головные уборы. Мне думается, вся эта самобытность – драгоценный клад для серьёзных научных изысканий.

Съезд продолжался два дня. Было много народу. Прибыли люди со всех уголков Кавказа. Но не было того единства, что присутствовало во Владикавказе. В первый день сторонники Гоцинского избрали его имамом, вконец перепугав Социалистическую группу Облисполкома. Те насели на либералов, упрасывая повлиять на Нажмутдина с тем, чтобы он отказался от притязаний на имамство. Он, было, упирался, но либералов поддержали и некоторые духовные лица. Ему указали, что у мусульман уже есть один имам – турецкий халиф, а ещё сказали, что за пределами Андийского, Аварского и Гунибского округов его влияние крайне незначительно. Он слушал это с нескрываемой неприязнью, но доводы возымели действие. Он отказался от имамства, взамен все, даже Социалистический Облисполком, признали его муфтием. Это был неравноправный компромисс. Джелал и Махач торжествовали. Гоцинский негодовал, но подчинился решению интеллигенции. Это была её последняя общая победа. Далее пути либералов и социалистов расходятся, как минимум на два года, до участия в общей борьбе против Деникина во второй половине 19-го года.

Несколькими днями позже Зайнал опубликовал статью «Дагестан в дни революции», где о почине Гоцинского были следующие строки: «если бы Центральный комитет Союза нашего Северного Кавказа и Дагестана вместо того, чтобы, созвав в Андийских горах совершенно ненужный с исторической точки зрения меджлис, унизить чистосердечных сынов и интеллигентов народа, пошёл бы по пути национальных и политических надежд, по которому идут сейчас другие мусульмане, живущие в России, то, возможно, наши надежды бы осуществились». Впрочем точный путь к осуществлению всех этих радужных надежд не знал никто, ибо обстановка ежедневно усложнялась, всё более заходя в тупик.

В последние дни августа вернулись дагестанские конные полки, которые Корнилов вёл на революционный Петроград. Смотрел я на этих грозных всадников и вспоминал строки дедовой песни:

Сорок тигров, сорок волков,
Чьи сверкают копыта пестро,
Чьи мечи блистают остро,
Вы покинули сорок земель,
Вас влекла единая цель
И связала присяга вас.

Дедушка Галип говорил, что эту песню сочинил кыпчакский, то есть половецкий батыр в память о своих боевых товарищах и их предводителе Манасе, именем которого названа речка, протекающая недалеко от Канглы. Увы, как показали последующие события, у этих конников не было столь благородного и народолюбивого вожака.

Среди этих кавалеристов был и мой брат, штабс-капитан Кайсар-Бек Акаев. Мы по-братски горячо обнялись при той встрече, но она была не столь тёплой, как мне бы того хотелось, ибо в тот день обнажились наши непримиримые политические противоречия. Он презирал Керенского и настаивал на необходимости «твёрдой руки», сетуя при этом на то, что не видит среди генералов достаточно твердорукой персоны. Проспорив около часа, мы расстались. Он спешил на встречу с Нух-Бекком Тарковским и прочими офицерами. У них полно общих дел. Я же отправился в резиденцию Дагоблисполкома, где оживлённо обсуждался проект аграрной реформы в крае. На совещании было много новых для меня лиц.

Живо помню первое впечатление от знакомства с присутствовавшим на том собрании Рашид-ханом Каплановым: отчётливое ощущение особенной собранности, благородной простоты, бывшей отсветом большого и подлинного внутреннего благородства.

Полтора года спустя, в марте 1919 г., я пытался убедить Капанова свергнуть Коцева и, провозгласив себя диктатором, вести прямые переговоры с англичанами. Он отказался, сказав мне: «Менее всего подхожу на эту роль я. Вы не могли найти человека более неподходящего вашим планам». Капанов был глубоко скромен. Скромность – свойство редкое на политической арене, где так много коварных льстецов и столь сильно искушение властью.

Быть может, именно эта скромность и помешала Капанову дать Родине всё, что он мог бы дать. Властebоязнь была всеобщим недостатком среди демократической интеллигенции. Единственным исключением был Джелал Коркмасов. Что до Казбекова, то у одного имелись большие амбиции, но не было коркмасовского ума и политического опыта, если не считать за таковую его харьковскую студенческую кружковщину с элементами авантюризма.

Необходимо рассказать и о другом важном участнике совещания по аграрному вопросу. Дахадаев – даровитый авантюрист с нафиксатуренными и лихо приподнятыми вверх усами, он

одинаково оболъстителен и с женщиной, и с толпой. Сын кузнеца силой своего мужского обаяния, поочередно покоровший сердца двух внучек Шамиля, сделавшийся едва ли не миллионером. Привожу дословно то, что я услышал о нём от Темир-Булата Бей-Булатова буквально на второй день нашего знакомства:

«Хитёр, как лиса. В первой революции был эсером. В прошлом году называл себя социал-оборонцем, патриотом и с размахом выпускал на своём кинжальном заводе для царской армии оружие. Поговаривают даже, что вёл он дела и с самим Гришкой Распутиным. О его коммерции с Чагир-Тагиром и прочими местными мазуриками и говорить нечего. Сейчас же он называет себя социалистом-интернационалистом. Что это такое даже я не понимаю, рабочие его завода тем паче. Но все хорошо понимают, что между ним и безбожными большевиками нет совершенно никакой разницы. На двух стульях сидеть хочет, ну прямо как в семейной жизни от одной сестре к другой, так и в политике: победят большевики, он с радостью назовётся большевиком, ежели раздавят их, назовётся меньшевиком или кем ещё. Сегодня же для него самое удобное быть именно социалистом-интернационалистом. Ведь во всём Дагестане не найдётся и одного человека, который бы толком понимал, что это такое?»

После собрания в узком кругу, Капланов с грустью в голосе говорил о выборах имама в Анди:

– Неважно, кто он, муфтий ли, имам ли, беда в том, что авантюристы и фанатики вроде Узун-Хаджия из него пытаются сделать льва, коим он не является. Это затуманивает его мозг и соблазняет на борьбу за власть. Наша Родина обречена на гражданскую войну. Если не с людьми Гоцинского, то со сторонниками возрождения монархии, если не с ними, то с набирающими силу большевиками, ну, а если и эти не попытаются взять власть в собственные руки, то объявится с десятков диктаторов с подобной претензией.

– Уж не видите ли вы в Гоцинском Бонапарта местного значения? Этакого императора в зелёной чалме? – ухмыляясь, спросил Дахадаев.

– Скорее карикатуру на Бонапарта, – ответил Капланов.

Разошлись мы совсем поздно.

У меня с тех пор сохранилось несколько газет. В одной из них статья Казбека Бутаева о корниловском мятеже. То был призыв к дагестанским конным полкам поддержать революцию и отказаться от верности преступным командирам. Сплошной пафос. Нет, в моих словах нет горделивого цинизма свидетеля нашего последующего поражения. Но сегодня, вспоминая то время, я вижу, что жили мы больше громкими фразами, нежели делами. Весь воздух был как бы наэлектризован высокими словами, надеждами, мечтами. Все были за Свободу. Именно так – за Свободу с большой буквы. А реальность оказалась на стороне самых коварных, то есть на стороне большевиков, которые по их заявлениям тоже сражались за Свободу. Не знаю, за Свободу ли, но они действительно сражались, в отличие от нас – гуманистов и мечтателей. «Маниловщина» – кажется, так обзывал нас Ленин, хотя и от благородного бедняги Дон-Кихота

в нас было не менее.

РАВНИНА В ОГНЕ

В первые дни после большевистского переворота я встретил Темир-Булата Бей-Булатова, который с печалью в голосе процитировал мне Ветхий Завет: «Всему своё время, и время всякой вещи под небом... Время убивать и время врачевать; время разрушать и время строить,.. время любить и время ненавидеть; время войне и время миру», а потом добавил от себя:

– Долго нам придётся ждать время мира.

– В смысле? Вы думаете, быть войне? – переспросил я его.

– Это единственное в чём я уверен. В очередной раз наша нация обречена на трагедию.

Вид у Темир-Булата в целом был подавленный. Иное дело Уллу-Бий Буйнакский. Не то чтобы он в ту пору уже был особо близок к большевикам, но он был восхищён их решительностью, их обещаниями и личностью самого Ленина. Его жажде деятельности не было предела.

Помню, что на собрании Облисполкома Коркмасов осудил большевистский переворот, но и ему самому досталось за нерешительность в борьбе с эсерами-максималистами, большевиками и анархистами, то есть с Петровским комитетом Уллу-Бия. Через неделю Джелала сменил на посту председателя Облисполкома сторонник Гоцинского Темир-Булат Бамматов, старший брат Гайдара. Почти всех социалистов в Облисполкоме заменили члены «Милли-Комитета». Исключением оставался, кажется один только Алибек Тахо-Годи, у которого сохранялись на тот момент некоторые колебания по поводу собственной политической ориентации.

В январе разразился политический кризис, ознаменовавший окончание падение престижа власти Облисполкома. Гоцинский устроил парад своих войск в Темир-Хан-Шуре, а затем вступил в перестрелку с милицией Социалистической группы в Дженгутае. Потом полыхнуло в Хасав-Юртовском округе. Там всё более отдалявшийся от несмелого «имама» более деятельный Узун-Хаджи учинил «газават», так он называл резню безоружного русского и немецкого населения.

Над краем нависла угроза голода и гражданской войны. Казалось, само время застыло, чтобы отчётливее мы осязали всю глубину затишья перед бурей.

Как это не покажется читателю странным и непростительным, но вся напряжённая ситуация в крае совсем не помешала мне уединиться в Канглы и писать письма к Магомеду, выведывая через мелкие косвенные вопросы и о сестре его. Я опасался, как бы меня никто не опередил со своими сватами. Я надумал направить своих сватов в Балкарию по истечению годового траура по матери.

Никакой политический кризис не способен отнять у меня чудной привилегии восхищаться красотой природы, этой поэмой без слов. Я не помню, шёл ли тогда снег семь дней и семь ночей или же весь месяц. Наш снег не сыплется вёдрами с неба, как молочные водопады в европейских сказках, а как бы сам собой растёт из-под земли. Ляжешь вечером под шум дождя, потом выйдешь утром, а перед твоим взглядом стелятся заснеженные поля. Я был влюблён и не желал видеть неотвратимую гибель привычного образа жизни, надеялся, что тревожные события оставят меня в покое.

Но судьба распорядилась совсем иначе, совсем против моих планов и надежд на ту весну. Только мы помянули нашу мать молитвой, прочитанной над её могилой и возвратились домой, как в дверь нашего дома постучал гонец, объявивший мне, что Облисполком поручил мне сопровождать Коркмасова, уполномоченного спасти дагестанские стада, задержанные в казачьих станицах. Я хотел было отказаться, сославшись на занятость по хозяйству. (Это было сущей правдой, ведь я уже почти два года вёл его в одиночку; Кайсар пропал в казармах, а Акай – на сборищах радикалов.) Однако же гонец, оборвав меня на полуслове, протянул мне письмо. Это было письмо от самого Коркмасова, я был ошеломлён. Неужели сам лидер дагестанской революции обращается ко мне, просит меня об услуге? Последние строки его письма, окончательно меня обезоружили: «Если мы не поспеем вовремя, то разлив рек надолго задержит возвращение баранты, а это чревато падежом скота, усугубит и так уже ощущаемый голод в горах и будет на руку горячим головам вроде Узун-Хаджи – и тогда трудно себе представить, на какие новые сомнительные «подвиги» вдохновит этот истеричный старик доведённых до отчаяния горцев. Мы должны помешать этому». Против последнего аргумента я не мог ничего возразить. К тому же, как отказать старшему и славному сыну моего народа? Единственно, до посещения Облисполкома пошел посоветоваться с Бей-Булатовым как со старшим, опыту и чутью которого целиком доверял.

Подчёркиваю, ни тогда, ни много позже у меня не было желания участвовать в политических событиях или, тем паче, в гражданской войне. Признаюсь честно, как это всегда бывает с влюблёнными – я думал лишь о предмете своего обожания и мечтал скоро с ней свидеться, дабы никогда более не разлучаться. Но в нашем крае, где все друг друга знают, просто невозможно укрыться от забот.

Темир-Булат в те дни переживал трудные времена. Его детище «Танг Чолпан» испытывал финансовые и организационные трудности, которые скоро привели к замене его на должности редактора сторонником Социалистической группы Нухаеи Батыр-Мурзаевым, отцом Зайнала. Молодёжь, группировавшаяся вокруг журнала, была недовольна умеренностью Бей-Булатова. Он, однако, тепло меня принял и выслушал. Затем подумав, посоветовал:

– Многим в Исполкоме судьба этих стад и голод в горах были совершенно безразличны, они не намеревались пальцем о палец за них ударить. Но не таков Джелал Коркмасов. Он и его соратники по Социалистической группе настояли на своём, и скоро горцы узнают, кому они обязаны спасением овец, а значит и пропитания для своих детей. Увидишь, вскоре в Нагорном

Дагестане авторитет социалистов будет почти вровень с авторитетом шейхов и мулл из окружения Гоцинского и даже со славой Аршин-Пача . Поезжай с ним, тебе это будет только на пользу.

– А зачем он выбрал меня в спутники?

– Как известно, в Исполкоме ему не доверяют и потому обязали взять себе в спутники кого-либо из членов «Милли комитета». Почему он выбрал именно тебя? Его внутренние мотивы мне неведомы, но предполагаю, он предпочёл видеть своим спутником человека совсем молодого, неспособного к интригам и, что самое для него важное, неизвестного широкой публике. Иначе ему пришлось бы разделить с тобой славу спасителя гор. Как, по-твоему, логично всё я растолковал.

– Убедительнее некуда. Как всё сложно, запутано и одновременно просто.

– Такова политика, противоборство интересов, человеческих слабостей и честолюбий.

Вечером того же дня я уже ехал поездом из Петровска в Хасав-Юрт. В дороге я впервые заговорил с Коркмасовым:

– Как вы осознали необходимость своего участия в революционном деле?

– В революцию уходят по-разному, – уклончиво ответил он.

– Или чаще не уходят совсем, – возразил я ему.

Он смерил меня оценивающим взглядом и ответил:

– Эх, что вы молодёжь об этом знаете? В революцию меня привели книги Кропоткина и глупость Николая Последнего, учинившего своим верным подданным «Кровавое воскресение». Конечно, и до этого на примере бедствий простого народа я был убеждён в необходимости самых радикальных перемен в устройстве общества и государства, ибо невозможно изменить жизнь народа к лучшему прежде перемены к лучшему самого государственного строя. Однако ж социализм придал моим переживаниям, чаяниям и надеждам научную стройность и основательность. Говорят, что народ имеет ту власть, которую достоин, но и наоборот всякая власть имеет тот народ, каким хочет его видеть. Иначе бы мы имели самый яркий пример торжества реформ, и народы России не изнывали бы под гнётом унижительных податей, чуждых всякому свободному разуму сословных и религиозных ограничений и, самое главное, собственного невежества. Задумайтесь же, у нас три четверти граждан не умеют ни писать, ни читать. Как от них можно требовать законопослушности и неукоснительного выполнения гражданского долга? Прежде их надо всему тому обучить, и первый тут шаг – всеобщая грамотность. В царской России даже грамота была привилегией немногих. С исправления именно этой высшей несправедливости и должна была начаться наша Великая революция, а не с

демагогии и пустых обещаний.

– Я тоже так думаю, перво-наперво нужно обучить народ грамоте, – согласился я с ним.

– Да, у нас много неотложных задач, к примеру, орошение этой засушливой долины. Вы думаете, народу нужна трескотня политиков, их громкие слова о революции и свободе? Нет, простому труженику нужны средства, чтобы прокормить свою семью, нужны больницы и школы, чтобы лечить и обучать его детей. Если бы Временное правительство провело бы хоть на четверть аграрную реформу и наделило землёй того, кто на ней трудится без всякого выкупа в пользу помещиков, то у власти и по сию пору находились бы эсеры. А вот Ленин и с Троцким это поняли, и они пришли всерьёз и надолго.

Я пытался оспорить неприятное мне утверждение большевистского превосходства, но Коркмасов не был склонен продолжать наш диалог.

– Молодой человек, я устал от вечных дагестанских споров, дайте мне просто полюбоваться природой, – настойчиво попросил он и я внял его просьбе.

Перед нами тёк Сулак. В древние времена он считался божеством, змеем драконьих размеров, чутьем, пробирающимся к Хазарскому морю, но грохочущий поезд стремительно угнал нас дальше и река скрылась из виду.

От разорённого Хасав-Юрта на север мы ехали верхом на конях по равнине, дороги которой не петляют между пропастями и туманами, а прямы, как выстрелы и повсюду мы встречали пепелища и иные печальные следы разорения. Здесь, как и в Хасав-Юрте орудовали банды Узун-Хаджи и ему подобных. Слышал от очевидцев, что они пролили немало невинной крови. Не щадили даже женщин и детей. Особенно досталось русским и немецким колониям. Позорные страницы истории Кавказа! Но в такой позор обратилось настоящее всей России. Узун-Хаджи, слепой фанатик, обещал вешать всех, кто пишет слева направо .

В Аксае мы встретились с Рашид-Ханом Каплановым. Они с Джелалом были очень большие друзья.

Капланов со злобой в голосе рассказывал о своих переговорах с Узун-Хаджи:

– Мы ему и так объясняем и этак, а этот фанатик одно талдычит, дескать, завоёвано это всё саблями и кровью его мюридов и по шариату принадлежит им, то есть – ему.

Джелал попросил у Рашид-Хана дать нам в проводники местных чабанов – знатоков степи, тот с радостью исполнил его просьбу и к нашим чабанам-горцам присоединилось несколько аксаевцев.

В Адиль-Янги-Юрте я нашёл Зайнала, который был очень опечален последними событиями в округе. По его словам он, как бы видел себя чужими глазами: полный сил и счастья юноша

превращался теперь в одряхлевшего старика.

– Ах, превратный мир! Всё запуталось. Самые темные силы торжествуют! Мечты идут прахом. Я не знаю, в кого буду стрелять завтра, или точнее, в кого мне придётся стрелять первым, дабы он не застрелил меня прежде.

– А стрелять ты умеешь?

– Шутишь что ли? Меня из Астраханского училища исключили после того, как по доносу вывели, что я за городом из ружья по банкам стреляю. Неплохо кстати стрелял. От ареста и заключения отделался, убедив жандармов, что только забавляюсь. Красноречив был. – Зайнал улыбался своей детски чистой улыбкой. – Что же, вот и понадобится опыт. Кто его знает, может из меня выйдет Боливар мусульманского мира?

С последними словами он весело рассмеялся. На несколько минут к нему вернулись былые беззаботность и уверенность. Спустя годы я понимаю, Зайнал был самым искренним из всех нас. Потому, наверное, его судьба сложилась трагичнее, чем у других. Через полтора года после той нашей последней встречи его убили.

Едем дальше. На подходе к Тереку сонные топи перемежались со степными прогалинами, на которых светлыми пригорками маячили ногайские юрты. Это Шавинская долина, тянущаяся до самого Каспия. Тут в камышах запрятано волшебное лоно дождей и серых морских вод. Можно было бы назвать это место поистине прекрасным, если бы не угроза подхватить в летнюю пору от местных комаров малярию.

Здесь как нигде в ином месте кипчакский дух вошёл в кумыкскую плоть. Здесь встречаются два мира. Оба они тюркские, но один из них кочевой и скотоводческий, а другой оседло-земледельческий. Уголки глаз у некоторых местных кумыков напоминают об изогнутой и тонкой тетиве ногайского лука. Я часто думал о братстве наших народов и красоте нашего общего языка. Когда говоришь на тюркском о прекрасном, кажется что целуешь воздух.

Ногайцы – народ, привыкший к самым суровым испытаниям. И казаки, и банды Гоцинского норовят украсть у них их кормильцев – верблюдов. Без верблюда в засушливой степи всякому человек смерть, ибо и чертополох здесь рождается нехотя, с превеликими муками пробиваясь чрез сухую кору земли.

– Нам повезло, что мы пересекаем Кара-Ногай весной, – сказал один из пастухов, уроженец этих мест, – в июле здесь невыносимая жара, аж мозги кипят, а в рот, нос и глаза ветром забивается сухой и горячий как перец песок.

– И как вы только здесь живёте? – спросил его другой пастух-аксаевец с недоумением.

– Это наша земля и мы обязаны её любить, – пастух произнёс эти слова без всякого

самолюбования, спокойно, как говорил и обо всё другом.

Я его понимал, а поняли бы те, которые привыкли к праздной роскоши и комфорту? Разумеется, нет. Они бы не выдержали испытания таким Отечеством. Впрочем, они не выдерживали и много меньших испытаний, не оттого ли они в своём высокоумии не сумели удержать власть в октябре 17-го? Их свергли те, для кого испытание войной, помещичьим ярмом, тяжёлым заводским трудом и подпольем, были ежедневным обыденным состоянием. Большевики всё же были не столь слабы, как казалось себялюбивым демагогам и посему им ничего не стоило дать отменного пинка шуту Керенскому.

Из двухнедельного нашего путешествия мне более всего запомнился ночлег на обратном пути, когда мы расположились большим лагерем посреди Караногая. Посредине были согнаны овцы, а вокруг их большой цепочкой были разожжены костры, между каждым из них около шагов пятидесяти. Устроено всё это было для того, чтобы к овцам не приблизились ни волки, ни воры. У каждого костра сидело по два пастуха с ружьями. У одного из них грелись в сырой ночи и мы с Джелалом, его телохранителем из Торкали и двумя пастухами-аксаевцами.

Коркмасов рассуждал:

– Нет даже времени разобраться как подтянуть наш отсталый край, который не сумел пока даже сделать должных выводов из того факта, что потоп давно уже кончился. Куда ему до коммунизма?

– Так вы согласны со мной в том, что большевизм – это зло временщиков, которым вскоре несдобровать?

– Вы знакомы с Асельдером? – ответил он вопросом на вопрос.

– Да, – ответил я, отчего-то смутившись. – Но вы же не осуждаете меня за то?

– Когда меня выслали с Куваршаловым в Олонецкую губернию, многие от нас отвернулись. Один только Асельдер поддерживал нас, благо жил он тогда в Петрограде, то есть тогда ещё Петербурге. Не из-за симпатии к революционерам конечно. Скорее назло правительству. Из строптивой симпатии к осужденным. Кстати не одни вы за его счёт учились. Дахадаев тоже на его стипендию выучился на инженера. Но за благими делами не спрячешь кривых. Асельдер богат и может себе позволить красивые жесты, но его богатство ему в укор, когда голодает его народ. А ещё эти его политические амбиции, ведь вы знаете, что он почти всех в Темир-Хан-Шуре прикупил?

– Я не обращал внимания на подобные слухи, – ответил я совершенно искренне.

– Большевики не вызывают у меня глубоких симпатий, но если они восторжествуют это будет неудивительно, ибо они победят не потому что правы, а потому что не правы их

противники. И ещё Ленин это великий политик, поверьте мне, среди эсеров, меньшевиков и кадетов нет ни одного, кто бы и в десятой степени сравнился бы с ним в политическом чутье.

Я пытался отрицать эту, как оказалось позже, несомненную истину, называл имена политиков, хотя сам не был в них уверен, ибо знал о самом их существовании лишь из эсеровских и социал-демократических газет, но Коркмасов словно бы не слыша моих слов, смотрел в огонь и продолжал развивать свою мысль:

– Беда нашей Родины в том, что она разделена на маленькие лужи и в каждой царит большая рыба. Сколько их в одном Дагестане! Голова кругом идёт. Воистину, что не гора тут – то князь. И всем подай княжество! И Нажмутдину, и Нуху, и Узун-Хаджию, и вездесущим братьям Бамматовым, Апашеву, ему, прежде всех, конечно. Ну и Кайтмаза Алиханова тоже непозволительно обделять. Есть ещё претенденты на княжение. Но на всех пирога по имени Дагестан точно не хватит.

Наши спутники пастухи-аксаевцы были чабанами скотопромышленника Азава Бекетова. В свете костра хорошо виднелись их смуглые от постоянного пребывания на солнце, будто закопчённые, лица. Пока мы с Джелалом спорили, они молчали, не издав ни звука, наконец, один из них, белоусый и белобородый, подбросив сухой хворост в обессилевший огонь, достал откуда-то из темноты агач-комуз и запел о героях прошлого:

В бораганских степях
На врагов, что как туры сильны,
Ты капканы ставил,
Белого царя казаков
Головами ты поля засеял.
Ты к Загему ходил
Шемахинской дорогой...

Песнь лилась и лилась, голос певца крепчал. Уже и не помню и половины слов, но голос помню. Старинный йыр наполнил сердце нежданной радостью, а тепло костра, впрыгнув в грудь, разлилось по всему телу.

– О ком эта песня? – спросил я старика, когда тот отложил инструмент обратно во тьму.

– О Солтан-Муте, – последовал ответ. – Много подвигов совершил этот бий-батыр, на десять жизней их хватило бы, словно бы ведал, как измельчают духом и силой его многочисленные потомки, жизнь пяти из которых не стоит пальца с ноги кула его времени.

– А старик-то социалист, – пошутил Коркмасов. – Не знаю, как вы, Акаев, а я буду спать, у нас еще долгий путь до Хасав-Юрта.

Зевнув и прикрывшись шинелью, он задремал. Через несколько минут я последовал его

полезному примеру.

Два дня спустя в Аксае мы распрощались с чабанами. Помню, как перед самым нашим расставанием с ними белоусый и белобородый говорил другим:

– Приближается конец света, не иначе! Всё рушится. Всё, на чём держалась наша жизнь. Раньше мы знали, кто голова, а кто обыкновенный разбойник с большой дороги, а теперь разбойники к власти пришли и воровство сделали законом. Потому уже завтра брат восстанет на брата, сын на отца. Я не учился в медресе, но своим корявым умом вижу, что к чему. Помяните моё слово, лихие времена наступают!

Тогда я не обратил на его слова особого внимания. Подумал: обычные для малограмотного и сбитого с толку революционными событиями человека пустые разговоры. А теперь вижу, насколько же он оказался прозорлив.

От Андреева аула и далее на юг нас всё время сопровождал вид наших родных предгорий. Дед говорил мне: наши горы от того невысоки, что в отличие от своих горделивых соседей при своём рождении не хотели покидать мать-землю.

Не успели мы вернуться в Шуру, как на неё началось наступление большевиков. К ним примкнули социалисты. Это меня очень расстроило, я тогда ещё наивно надеялся на возможность союза с ними против анархии. Вместе им удалось взять город почти без боя. Хотя мне лично вроде бы ничего не грозило, я предпочёл под покровом ночи бежать из Шуры.

Инициатива полностью перешла в руки крайних сторон: Гоцинского, Алиханова, Тарковского, с одной стороны, и большевиков, с другой. В мае Гоцинский во главе гимринцев (земляков Кази-Муллы и Шамиля) совершил неудачную попытку выбить большевиков из Шуры. Большевики в это же время выбрали главным в Дагестане Кормасова, который хотя сам большевиком тогда ещё не был, но уже сделал на них свою окончательную ставку.

Кругом царила смерть. Единственная незыблемая власть во всякую междоусобицу. Да, именно так. Везде, вокруг царила одна только смерть. И всё же мы осмеливались жить. От большевиков я скрывался в Ишкартах. Селение это хотя расположено и невдалеке от Шуры, однако же находится на высоте более 400 сажень. Отсюда город как на ладони и всегда знаешь заранее, идёт ли к селу отряд противника. Хотя мне само слово противник противно. Ибо против брата шёл брат. И мой брат Акай был не последним среди левых эсеров, примкнувших к Соцгруппе и большевикам. Другой мой брат, Кайсар-Бек, находился в ту пору при Кайтмазе Алиханове. И именно потому, а не из трусости, я не желал принимать ни малейшего участия в грядущем побоище.

В селе были сторонники большевиков, среди них выделялась одна девушка мужиковатого вида, которая и воображала себя мужчиной. Запомнил её имя, но помню, стреляла она не хуже иного офицера. В лесах орудовали грабители-качаки, которые не разбирали политических

идеалов. Потому и я, человек мирный, ни на миг не расставался с револьвером. И ни на минуту меня не оставляла тревога. Хотел написать Магомету Безенгиеву, узнать, как он и его семья, а значит и его сестра, мысли о которой не давали мне покоя. Но почта уже совершенно не работала. Люди Узун-Хаджи даже рельсы с железных дорог унесли, что уж говорить о почте. Как там моя любимая?

Среди всей этой напряжённости, ожидания чего-то ужасного и неотвратимого, тяжести повисшей в самом воздухе, выдавались и дни чудесного перемирия. Таковым был и день начала месяца Рамазан.

Мы собрались в мечети. Были люди из обоих лагерей. Но перед божественным вражда отошла на задний план. Это было прекрасное чувство внезапно посетившего покоя. И я невольно сложил стих о том чувстве, которое меня посетило в тот момент.

Рамазан вступает в мечети,
Мархаба, месяц святой!
Рамазан вступает
Во все мечети на свете,
Во все сердца правоверных.
Нет Бога, кроме Аллаха
И Мухаммад пророк его!
Мархаба всему живому!
Всем божьим твореньям.
Боже, дай дому родному,
Всей Родине моей
Твоё Благословенье!

Сейчас, остановив своё перо, с иронией думаю о том, как нынче объясняют в Советской России почти полное перемирие между сторонниками большевиков и шариятистами в месяц Рамазан?

Но вот закончился пост, и война разгорелась с новым, ещё большим пылом и жаром. Большевики с севера отправили подкрепление своим сторонникам. Это первое вмешательство внешних сил, которое, по-моему, и привело обе стороны к ожесточению, дотоле сдерживаемому мыслями о том, что в войне сей принимают участие лишь сородичи, соседи и земляки. Теперь же союзники большевиков почувствовали себя сильнее и решились на удар, а противники их перестали видеть в них своих соотечественников и стали нарекать их кличками: «изменники», «предатели», а более всего называли «безбожниками» и «гяурами». Тут с юга нагрянули ещё одни «гяуры», то были Бичерахов и дашнаки. Как они поведут себя, в те дни ещё не было ясно, но все насторожились. Они вступили в переговоры с социалистами (до того они вместе с большевиком Шаумяном боролись против турок и потому социалисты надеялись на союз с ними), но вскоре Бичерахов обманул их и силой занял Петровск.

Некий Ляхов со своими большевизированными совсем юными безусыми татарчатами в зелёных фесках (дабы сбить с толку шариатистов) пытался помочь Махачу на Атлыбоюнских высотах, но тот грубо отказался, посоветовав ему убираться обратно. Гордец не предвидел свою скорую гибель. Он был убит, как я слышал, из-за денег – при нём были «экспроприированные для партийных нужд ценности». На дорогах бесчинствовали многочисленные бандитские шайки. Вот он и попал в руки одной из них. Убивать его не хотели – грабителей, как я уже писал выше, мало интересовала политика, однако, он проявил принципиальность и отказался отдать деньги, за что и был убит. Нет, он отдал жизнь не за деньги, кто вообще за них идёт на очевидную смерть? То были его личные принципы, которыми он не мог поступиться. После смерти была произведена опись его имущества, цена которого была определена почти в 800 тысяч рублей по ещё старому, твёрдому курсу. Получалось, что этот революционер в 700 раз богаче меня и моих братьев вместе взятых. Помнится, его многие подозревали в организации убийства Темир-Булата Бамматова и в связях с Бичераховым. Кое-кто из наших предположил, что к его смерти так или иначе причастны другие социалисты, узнавшие о его тёмных делишках и подсказавшие разбойникам, когда и по какой дороге он проедет.

Почти в тот же день стало ясно: Тарковский пошёл на сговор с Бичераховым. Вещь недопустимая, но Нухбек так тяготился своей властью и ответственностью, что допустимым было всё. Во время его «диктатуры» в Темир-Хан-Шуре царила полная анархия. Абу-Суфиян Акаев был арестован за симпатии к Соцгруппе. Лишь общие усилия других представителей духовенства, а также бывших членов Театрально-Литературного общества вызволили его из застенков.

Я изнывал от бессилия и злобы. За что мы боремся, если наши вожди нас предают, если народ всё больше склоняется в своих симпатиях не в нашу сторону? Но вот пришла добрая весть от Темир-Ханова: «Турки идут!»

С воодушевлением и верой в завтрашний день мы вооружились и воссоздали милицию, в её ряды вошёл и я. Впервые я гарцевал на коне с шашкой и заряженным наганом на боку. Во главе с офицером конного полка Эльдарушевым мы шли на штурм основных позиций Бичерахова в Петровске. Однако, он по приказу своих хозяев – англичан сбежал с Джигитяном на корабле, бросив в городе около двух тысяч дашнаков, которым не хватило мест на бывших в его распоряжении судах.

Итак, мы – сотня дагестанцев (к нашему стыду, больше мы не собрали, ибо дагестанцы в своём большинстве предпочитают громкие слова о патриотизме подлинным действиям) вместе с союзными нам турками пошли на штурм дашнакских укреплений на вершине горы Тарки-Тау. Мой отряд поднимался со стороны города. Пули свистели вокруг моего коня, поражая то одного, то другого товарища. Наконец, поняв, что коням далее не подняться по крутизне, мы спешили. Враг уже был на расстоянии десяти-одиннадцати шагов, но он многочислен, имеет выгодное положение над нами и, самое важное, отчаянно борется за свою жизнь.

Руководивший нашим штурмом турецкий офицер приказал своим аскерам забросать дашнакские позиции гранатами. Раздались десятки взрывов, а потом ещё один, просто колоссальный, царь среди взрывов. Какими словами выразить бездонную глубину молчания, наступившую вслед за криками? Звуки умерли.

Офицер скомандовал: «В штыковую атаку!!!» Турки со штыками в руках помчались вперёд, мы – за ними, прикрывая их огнём своих ружей и пистолетов. Аллах велик! Высота взята. Дашнаки, не желая, плена и мести от людей, у которых они во время своих военных успехов отняли родных, бросались в пропасть. Некоторым, впрочем, помогли, понукая штыками и прикладами. Пули стоили немалых денег в ту пору всеобщего дефицита, их надо было беречь.

Мы победили, но с немалыми потерями. Вечная Слава нашим братьям, павшим в тот день за Свободу.

Темир-Булат, штурмовавший гору с западного склона (там было больше потерь), был в восхищении от мужества турок, граничившего с героизмом сподвижников Пророка. Он почти в тот же день написал великолепную статью в газету о битве с армянами. Затем, как-то вечером, позвал меня к себе и сказал:

– А я вот в Казаныше у наших стариков песню недавно записал. Послушай её, если ты не поймёшь – никто не поймёт.

В кувшинах мы были мёдом, У вод мы были стройными вербами. Мёд наш, что был в кувшинах, Пришли и дворняжки-собаки вылакали. У вод стоящие наши вербы Неблагодарные, недостойные пришли и обрубали. Разделив надвое, напали на наш эль. Многих собак одолевшие мы волки, И нас самих ещё на многих врагов хватит

– Разве не про нас это?! Не про нас?! – в его глазах блеснули слёзы счастья, но не пролились.

Однако ж, наш триумф был недолгим. Большевистские газеты именовали нас «опереточной республикой», а председателей правительства куклами. И поделом! Как иначе назовёшь республику, во главе которой стояли её же враги? Офицерство во главе с Халиловым, Тарковским и Каитбековым было настроено на союз с Деникиным. Это была открытая измена. Печальнее всего для меня было то обстоятельство, что несомненным изменником был и мой брат Кайсар.

Я стремился хоть как-то противостоять симпатиям белой гвардии среди офицерства и в последний месяц существования республики, по моей инициативе, в нашей армии вместо команд на русском ввели команды на тюрко-кумыкском. Но офицеры противились и этому, они жаждали скорейшего прихода Деникина и не желали наперёд портить с ним отношения из-за платонических отношений с рахитическим нашим правительством.

Халилов нас предал, хотя сейчас это и отрицает. Да и Коцев с Апашевым ещё до

официального падения республики за спиной Капланова и Темир-Ханова снюхались с добровольцами. Я точно не знаю, как именно они все между собой договаривались, но у них это получилось. Когда я с ними об этом говорю сегодня много лет спустя, одни объясняют своё предательство необходимостью объединения всех антибольшевистских сил, но чаще всего отчего-то – верностью присяге. Присяге кому? Низвергнутому и мёртвому царю-поработителю? Временному правительству, которое только и умело, что пышно разглагольствовало о революционном оборончестве? Почему кто-то посторонний для них важнее свободы нашей Родины? И разве не присягали они в верности ей, не клялись ли защищать её до последнего вздоха? Или это всё было лицемерием? Богатство мужчины – древнее слово, свет мужчины – его глаза. Их предки этому не научили. Но особенно больно для меня было то, что одним из первых к врагам на службу перешёл Кайсар-Бек, мой старший брат.

Вздохи не приносят облегчения...

Как масло на солнце тает наше число,

Нас предали наши ханы,

Кто теперь на нашей стороне?

Так сказал Казак. Как всегда в трудные минуты, когда мне хотелось лезть на стену от отчаяния, я пошёл излить душу Темир-Булату. Он спокойно выслушал меня и ответил:

– Знаю, что и меня хотят призвать в добровольческую армию, как офицера. Я не горю желанием воевать, и к Ляхову с Халиловым с просьбами о принятии на службу не ходил. Меня мобилизуют помимо желания. Так что не всё так просто, как ты говоришь. Ну а Халилов понимает, что в одиночку мы не одолеем большевиков.

Но Кайсар пришёл к ним одним из первых, причём, совершенно добровольно.

– Что станет с волком, не пашущим и с воином не воюющим?

– Но и ты, Темир-Булат-акай, всю взрослую жизнь в офицерах служишь, однако, говоришь, что на войну не стремишься.

– Я стал офицером по единому капризу судьбы, моей мечтой было стать драматургом, композитором или на худой конец хотя бы актёром, путь в самом маленьком, но нашем – национальном театре, но судьба – суровая штука. Теперь же я актёр театра по имени большая политика и играю маленькую роль офицера, потому что денег моих хватило только на форму офицера. Что поделать, если семья моя была бедна, и не мог я позволить себе образование в университете, – он горько усмехнулся.

– Но я тебя понимаю, – продолжал Темир-Булат, – для очень многих офицерский мундир стал второй натурой. Они ничего кроме него не знают. Как-то один рядовой-чеченец рассказал мне

такой случай из жизни офицера чеченца – Шабадиева, который однажды столкнулся с самим Залимханом из Харачоя. Тот сказал тогда ему: «Ты совсем народ свой забыл. Ты забыл, что наши отцы говорили: «В лесу много кабанов, но волк один». Правильно это. «И один волк разгоняет стадо кабанов» говорили они ещё. И это правильно. «Ты поел чёрного хлеба, Шабадиев, из тебя волк не получится. Не мешай нам быть волками», - так сказал Залимхан, а он знал толк в волках.

В комнате воцарилось молчание. Было слышно даже тиканье часов. Через пару минут я спросил, не знаю Темир-Булата ли, или себя:

– И когда же закончится всё это? Война. Эта чертова война...

– Как бы то ни было, войну нужно прекратить как можно скорее. Бои в Карпатах научили меня, что самая главная победа – это когда остаёшься в живых. Но сегодня я думаю не о себе. Кажется, весь мир обезумел. Война с немцами одно, а гражданская войны – это всечасный ... ужас. Убивать тех, которых ты не знаешь – это одно, убивать друзей или братьев – совсем другое.

Мы ещё молча сидели минут двадцать. Каждый думал о своём. Первым молчание опять нарушил я:

– И когда тебя мобилизуют, Темир-Булат-акай?

– Может быть завтра, а может, через неделю. Кто его знает, что им в голову взбредёт? А ты, Галип, не искушай судьбу, где-нибудь спрячься, а то и тебя силой мобилизуют. Незачем тебе с большевиками воевать.

– Почему?

– Потому что они победят. Мой тебе совет, езжай-ка ты лучше в Грузию или Азербайджан.

– Бежать, когда Родина переживает такое?!

– Не беги, а пережди. Потом вернёшься, когда белых побьют.

– А вдруг, они напротив, победят?

– Это вряд ли.

– Отчего же?

– Я думаю, даже слепому ясно, что народ против них. Никому не охота возвращать земли помещикам. Ну как, послушаешь меня?

– Не знаю. Думаю, для начала нужно выбраться в Балкарию. Возможно, оттуда и поеду в Тифлис, через Владикавказ это очень удобно, – я не сказал Темир-Булату, но из Владикавказа я

намеревался ещё сделать крюк в сторону Безенгийской долины, куда моё сердце рвалось уже два долгих года.

– Ты что? Владикавказ – это самое пекло! Там штаб у Эрдели . Отсюда до туда повсюду хозяйничают добровольцы.

– Замечательно! Значит, можно будет поехать на железной дороге с военными, без риска, что поезд возьмут штурмом люди Узун-Хаджи или Кирова.

– И как ты это собираешься сделать?

– Вы уже меня научили, как это сделать.

– Не понял?

– Я как-то уже играл в поставленной вами пьесе офицера, сыграю ещё раз.

– Как это? – умное лицо Бей-Булатова выражало не свойственную ему высшую степень изумления.

– Очень просто. Выдам себя за своего брата Кайсар-Бека. Хотя мы и не близнецы, но весьма похожи. Нужно только отрастить усы, как у него, да одеть сапоги на чуть более высокой подошве, а уж за этим дело не станет. После этого никто из тех, кто неблизко с ним знаком, не отличит меня от него.

– Воистину, всё гениальное просто! – воскликнул мой старший друг.

– Остаётся только раздобыть документы, чтобы выдать себя за гонца с важным поручением. Только кто их даст?

– Ну, с этим дело не станет, – Темир-Булат широко улыбнулся.

Настала моя очередь удивляться.

– Ты спрашиваешь, кто тебе даст такие документы. Я тебе их враз раздобуду.

– Каким интересно образом?

– В условиях гражданской войны, когда почти нет настоящей полиции, нет ничего, чтобы стоило дешевле государственных атрибутов той или иной партии, будь то мундиры, банковские чеки, или печать на нужной бумаге. К тому же не забывай про офицерскую солидарность, а я как-никак офицер.

– Замечательно!

На следующий день я был уже в поезде. На мне форма офицера Добровольческого корпуса, в кармане подложный паспорт. Вместе со мной во Владикавказ ехал подполковник осетин Туганов. Мне очень повезло, что в Миртовую он служил в другом полку и не особенно знал моего брата. К тому же в бытность свою инспектором Владикавказской железной дороги при Горском правительстве, был очень занят её охраной от возможных диверсий, он редко заглядывал в Темир-Хан-Шуру и потому не знал меня самого. Человек весёлый и открытый душой, он составил мне отличную компанию.

– Мне говорили, что друзья-офицеры вас в шутку называли Кайзер-Беком, это правда? – спросил он меня, узнав кто «я».

– Да. Им казалось забавным моё имя, столь созвучное титулу германского государя. Но, оно и на моём языке значит кесарь, царь.

– Любопытное совпадение и на столь отдаленных языках! Удивительно, что можно ещё над чем-то смеяться в наше время, только не подумайте, что это я над вами потешаюсь. Нисколько. Лишь над изобретательностью ума нашего офицерства.

– Думаю, война – это самое время для шутки, иначе с лёгкостью можно тронуться умом.

Вместе с подполковником был всадник из Дагестанского конного полка. На вид ему около сорока, беседуя с Тугановым, я узнал его, он был мобилизован из Дженгутая и хорошо знал нашу семью и конечно самого Кайсар-Бека. По взгляду я понял, что он опознал меня. По крайней мере, у него были подозрения.

Когда мы остались одни, я спросил его по-кумыкски:

– Ассаламу алейкум. Мы знакомы?

– Ваалейкум салам, нет, но я знаю, что ты младший сын Хаджи-Гиши из Канглы, один из близнецов. Не тот за кого себя выдаёшь.

– Если так, то почему же ты не выдал меня офицеру?

– Твоего отца все добрым словом поминают: и в горных селениях и в степных и кто побогаче, и бедняки. Было бы неправильно теперь предавать его сына. Это не по чести.

Славный человек! Такие как он не теряют лица даже в самые тяжёлые и тёмные времена, когда все прочие совсем упустили из виду понятия о благородстве и преуспевают всё больше в одних только изменах и убийствах.

В путешествии к Асли через столь опасное пространство есть крупица некоего чувства святости, сродни паломничеству. По моему разумению, всякое путешествие с благородной целью – это паломничество.

Наконец мы прибыли в бывшую столицу Терской области. Здесь мы сердечно распрощались с Тугановым, он отправился в расположенный здесь штаб Эрдели, а я прикинулся, что собираюсь ехать в Кабарду к Даутокову .

Проехав Вольно-Магометанский аул в Дигории, я переоделся, за пределами городов безопаснее в штатском. Через одно из ущелий я пробрался в Балкарию.

При встрече с Магометом мы горячо обнялись. Настроение у него было бодрое.

– Деникину недолго осталось победы праздновать, уже скоро праздновать он будет труса.

– Я тоже в это верю. Мы в Дагестане активно боремся за будущую победу.

– Знаю, но поверь, и мы не сидим, сложив руки. Уже собран партизанский отряд. Когда настанет час, мы разом все ударим по врагу. Славная будет победа!

– Да, но кто ею воспользуется?

– Ты имеешь в виду большевиков?

– Да.

– Думаю, они не столь опасны, как Деникин и в любом случае предпочтительнее.

– При всей своей нелюбви к Добровольческому корпусу не разделяю твоего оптимизма.

– Не оттого ли, что твой родной брат большой чин у Деникина?

– Не такой уж и большой, к тому же другой брат с большевиками, – ответил я с горькой усмешкой. – Нет, здесь нет личного момента, но как только большевики почувствуют свою силу и нашу слабость, они перестанут считать нас за союзников и, вспомнив старые обиды, нарушат призрачную дружбу со сторонниками независимости.

– Зачем им это? Мы бедны, у нас нет классовых различий. Мои друзья, князя Абаевы, беднее многих своих соседей – крестьян, в том числе вчерашних вольноотпущенников-каракиши. В Балкарии нет классовых различий, потому что единственное наше богатство – это наши пейзажи.

– Есть такое богатство и у вас и у нас, которое колет глаза большевикам. И это – наше стремление к свободе. Что до красоты, то горы Балкарии прекрасны, но и у нашей Равнины есть повод для гордости, её небо вмещает миллионы звёзд. Моя Земля – пространство звёзд. А вдруг эту природу и у вас и у нас начнут кромсать в поисках нефти или других ресурсов? От большевиков с их верой в технический прогресс всего можно ждать. Они не верят в Бога и считают себя всемогущими. Я встречался и спорил со многими из них...

Мы ещё долго спорили с Магометом, но как всегда, каждый сохранили своё прежнее мнение. Однако это отсутствие взаимопонимания не помешало нам расстаться верными друзьями.

В дороге я много думал о судьбе моего маленького племени. Наш народ очень древний и очень талантливый. Но, увы, со времён Ермолова он живёт в состоянии искоренения. Ещё в Варшаве я прочёл книжку венгерского языковеда Юлия Немета, где он предрекал скорую ассимиляцию моему народу. Если насилие захватчиков и собственное братоубийство и дальше будут распространяться такими же темпами, его опасения могут оказаться действительностью.

В первых числах августа я прибыл в Тифлис и включился в деятельность Союзного Меджлиса за освобождение Северного Кавказа от войск Деникина. Именно в это время я особенно близко сошёлся с Ахметом Цаликовым, ставшим для меня политическим наставником. Я с восхищением смотрел на этого пламенного патриота и бойца, отдающего себя идее на все сто процентов. Он почти не спал в те месяцы. Может и эти тревожнения вкупе с прочими ускорили его безвременную кончину. По его инициативе мы вступили в соглашение с мусаватистами и большевиками. Последним мы не доверяли, но у нас совсем не было выбора. Они единственные имели мощную поддержку извне, ставшую определяющей. Антанта поддерживала Деникина и прочих белых, а наши естественные и единственные союзники турки вели ожесточённую борьбу за собственное выживание против объединённых захватнических сил Антанты, Греции и Армении. Христианский мир ополчился на всех мусульман под знаменем нового крестового похода. В двух словах у нас не было иного выбора, хотя мы и знали, что совершаем ошибку, сотрудничая с большевизмом.

Был ли возможен союз с Деникиным? Некоторые как Гоцинский, Алиханов, Коцев, Пензулаев это, безусловно, допускали, но не мы. Для нас в равной степени были неприемлемы лозунги и действия и большевиков, и добровольцев, ибо сам Деникин был пешкой в руках европейских крестоносцев и мечтал лишь о восстановлении единой и неделимой России со всеми её дореволюционными деспотическими атрибутами. Справедливее будет признать, что мы опасались его даже более, нежели опасались большевиков. Их мы считали авантюристами и временщиками, у которых нет большого будущего и потому мы вновь на недолгий срок стали союзниками, во второй после корниловского мятежа и в последний раз.

События тем временем развивались стремительно. Военно-шариатский суд приговорил лидера дагестанской левой молодёжи большевика Уллу-Бия Буйнакского к смерти. Как я теперь понимаю с высоты нашего времени, с самого начала Буйнакскому надлежало произносить речи, быть убитым и стать мучеником, каковую роль он сыграл вполне удачно в героической дагестанской трагедии.

Почти одновременно с казнью Буйнакского и его товарищей, большевики остановили наступление белых на Москву. Началось народное восстание в Дагестане. В сентябре по решению меджлиса туда отбыли Ахмет, Алихан, Давуд Урусов. По поручению Ахмета я остался в Тифлисе, отслеживая ситуацию в Анатолии и передавая ему все новости оттуда. Однако меня

гораздо сильнее волновали новости с Родины. Они были страшны: деникинские каратели расстреляли 80 человек в Костеке.

Потом дошли вести ещё более жуткие: белоказахьи каратели сожгли Доргели, убив множество беззащитных стариков, женщин и детей. 130 молодых и многообещающих жизней было оборвано. В 130 семей пришло горе. На 130 человек стал меньше мой маленький народ. Семьи партизан оставались в селении, надеясь, что какие бы то ни были люди, пусть даже и белые, не посмеют поднять руку на беззащитных. Несчастные! В глазах пришельцев с севера они сами не были людьми, а лишь прислужниками большевиков, да к тому же ещё дикарями, бусурманами, нехристями. К вражде политической прибавилась столетняя религиозная ненависть. И не мудрено! Ведь Армия Свободного Дагестана, руководимая Джелалом Коркмасовым, воевала не под красным, а под зелёным знаменем! Шейх социалистов Али-Хаджи Акушинский объявил белогвардейцам газават, как в «старые добрые времена» Шамиля и Казим-Муллы! Такое поразительное соединение коммунизма и исламизма! Однако же оно действовало, было явью, а не видением безумца.

В первые дни ноября пришла ещё одна тяжёлая как камень новость – погиб Зайнал. Я подробно расспросил нашего лазутчика, сообщившего нам об этом, но он знал немного.

– Я убеждал его не торопиться с штурмом Хасав-Юрта. У него-то и сил для этого не было. Говорил ему: «Подожди подкрепления, подмоги. Скоро придут аскеры Узун-Хаджи из Чечни и Казим-Бея из Кайтага. А так сгинешь зазря!» Зайнал выслушал меня и спокойно ответил:

– Не могу я ждать. Народ мой истерзан войной и пятой врага. До каких пор ждать? Пока не казнят последнего мусульманина в Хасав-Юртовском округе? Погляди, кругом одна смерть, вместо сёл пепелища, народ по камышам прячется, дети мрут там, как мухи от малярии, голода и холода? И за всех них я отвечаю, ведь из-за нас их карают. Не посеи мы в их сердцах зёрен свободы, они бы, как и прежде, терпеливо бы переносили ярмо. Мы обязаны их защищать. Не могу я прятаться в такое время, не могу бездействовать, иначе до скончания веков позором покрою своё имя. Этому не бывать!

– Но в твоём полку меньше сотни измученных бойцов. Вы не справитесь без помощи, – возражал я ему.

– «Атолу своей вершины сам достигает» только и ответил он мне. Через два дня его не стало.

– Как это произошло?

Лазутчик задумался, а потом ответил:

– Может тебе того лучше и не знать.

– Отчего же?

– Его предали свои же партизаны. В его отряде было несколько типов, которые сразу же мне пришились не по нраву, держались себе на особе и шушукались меж собой по непонятному. Это потом я разузнал, о чём они меж собой совещались, говорили – пусть лучше один Зайнал погибнет, чем они все сгинут. Говоря коротко, порешили они выдать его белым и через это спасти собственную шкуру. Ну а дальше... дальше сам знаешь что было.

Не вынеся этой последней вести, я бросил все дела в Тифлисе, не испугавшись даже разлуки с прекрасной..., возможно вечной разлуки и присоединился к повстанцам и бился на карабудахкентском фронте под началом Казим-Бея, которого Коркмасов призвал на помощь из Баку.

К концу зимы Деникин был уже полностью разгромлен, его войска удерживали только Петровск и Шуру. На некоторое время, перед последним решающим боем, на фронте воцарилась небольшая передышка. Пользуясь этим, я встретился в отцовском доме со своим братом Агаем. Помню нашу беседу дословно.

– Когда ты в последний раз видел Кайсар-Бека? – спросил он меня.

– В декабре. После той резни, которую беляки учинили в Доргели. Он был в окружении Каитбекова, деникинцы пытались тогда переманить меня на свою сторону, чтобы использовать как очередного посла к Али-Хаджи с предложением о переговорах. Я сделал вид, что поддался на их уговоры, но единственно, только для того, что, встретившись с братом, затем покинуть Шуру. После братских объятий я ему сказал:

– Кайсар-Бек, ты сражаешься на стороне зла, Деникин принёс много горя нашему Отечеству и нашей свободе и его карта бита. Наступление на Москву захлебнулось, помощи от Антанты ему ввиду усталости европейцев от великой войны больше не будет и скоро он будет окончательно разбит. Переходи пока не поздно к нам и будем вместе бороться за свободу Кавказа.

Кайсар-Бек возразил мне:

– Выбирая сторону Деникина я, как и ты, думал о благе для нашей Родины. Мы слишком слабы, чтобы надеяться отстоять свободу. Нашему народу, прежде всего, необходимы мир и порядок. Ты и сам это знаешь.

– Скажи об этом погибшим доргелинцам!

Кайсар-Бек сделал вид, что не услышал моих слов и продолжил развивать свою демагогию:

– Я тоже патриот Кавказа, но мы как бы между Сциллой и Харибдой. Из них двоих я предпочитаю белых. Их программа яснее. К тому же, я не мыслю нашу демократию вне демократии всей России.

– Но ваше дело обречено, и вы все погибнете!

– Будучи воином, я привык к мысли о смерти, как неизбежному профессиональному риску, – невозмутимо ответил мне Кайсар-Бек.

– Вы пролили много крови, – говорил я Кайсар-Беку, – скольких красных убил ты?

– Не знаю, потому что не всех убил, – зло так ответил. Мне его голос очень не понравился. – В России всё идёт к худшему и хуже всего дела идут у нас на Кавказе.

– Узнаю моего брата, – прервал мой рассказ Акай, – ну, а что привело тебя ко мне?

– Видишь ли. Мы говорили с ним о тебе, о Салимат, о войне. Сегодня вы и ваши хозяева в Петрограде наши союзники, но вскоре добровольцы будут разгромлены и тогда придут большевики и начнутся расправы. Кто знает, что будет с Салимат? Ты знаешь, она беременна и не перенесёт пути, вслед за отступающими белыми, если Кайсар-Бек всё-таки решится уйти, в чём я сомневаюсь. Он просил нас с тобой позаботиться о ней, если его вдруг... – в то мгновение я осёкся и на глазах моих проступили слёзы, лишь подыскав, компромиссное, не слишком жестокое выражение продолжил, – если его вдруг не станет.

– Конечно. Это наш долг, – мгновенно согласился мой брат, его голос на одно мгновение показался мне родным. Напомнил о совместных проказах в детстве. Я хотел продлить это мгновение и замолчал, но через минуту Акай прервал это моё молчание:

– Я знаю, о чём ты думаешь – о спасении старой Кумыкии, но это – утопия, которая не выдержала испытания временем и масштабами исторических событий, потому что была слишком хороша. Я её люблю не меньше твоего, но нужно строить ей новое будущее и мы его построим.

– «Мы», это ты с большевиками? Они ничем не лучше белых. Они узурпаторы, фанатики и бывшие немецкие агенты, разве за их власть мы боролись?

– Брат мой, на что ты надеешься?! Сила у всех, кроме нас, и нет нам ни единого шанса одержать верх. Нас с горсточку, а их миллионы. Куда уж нам тягаться? Остается лишь покориться правде момента, – так говорил мне мой брат-близнец, а теперь мой антипод, моя противоположность – Акай.

– Ты говоришь о правде момента? Я тебе возражу правдой вечности. Скажи мне, что такое «правда момента» в сравнении с ней? Мы в любом случае победим, если не при нашей жизни, то в жизни наших потомков – в нашем перерождении. Никто не украдёт у нас нашей внутренней сути, нашей тайны тайн и потому мы – уже победители. Мы, кумыки, живём на земле кумыков, дышим воздухом Кумыкии. Ну и пусть, что нас с горсть, а чужаков море, ну и пусть нас предали многие из наших же соплеменников. Не знаю, как ты и тебе подобные, но я и те, кто со мной,

сохраним Кумыкию в себе. Её песни, её запахи, её цвета, её голоса будут бессмертны внутри нас. Ты говоришь о прогрессе и поступи железного века, о космополитическом братстве под знаменем коммунистического интернационала, о мировой революции, в конце концов, но всё это – пустое. Вместо мировой революции вы получите вечную гражданскую войну, охоту на ведьм, казни искреннейших жрецов этой самой революции. Зряшная трата времени, энергии и того, что Троцкий называет «человеческим материалом». Большевизм, вот он – зловреднейший опиум, а вовсе не религия, испытанная временем.

– Ты ничего не понимаешь, это пилсудчики тебе мозги промыли, да ещё и немецкий романтизм. Неужели ты не видишь, что весь мир кипит, корчится, весь мир беремен революцией? Уже в Венгрии и Германии она полыхнула! Дальше-больше! – горячо возразил мне Акай.

– Нигде кроме России революция не победит, пролетариям и фермерам других, более преуспевших стран, есть что терять, потому лозунгом «Грабь награбленное» их не заманишь.

– Да как ты смеешь издеваться над светлыми идеалами коммунизма!?

Акай горячился, а я не хотел уезжать, поссорившись с ним, потому прервав спор, сказал:

– Брат мой, я уезжаю, мы с тобой похожи как две песчинки на горе Сари-Хум и как две капли воды в водах Сулака, но духом мы разные, и всё же пусть в доме твоём поселится приносящая счастье птица сыйлыкъуш .

Мы обнялись на прощание, он проводил меня до края хутора, где я сел на коня и уехал. Больше мы никогда не виделись. Не видел я больше и мой родной край, его сады и курганы. Покинул отчий дом, могилы матери, отца и деда. Началось моё изгнание, ибо если ты живёшь не на родине, а на чужбине, то значит, пребываешь в изгнании. Боже, дай мне сил!

ИЗГНАНИЕ

Война завершилась, и теперь каждый день был наполнен проблемами существования бытового и проверки на прочность в изгнании. На ум приходят слова Еврипида: «Нет большей горести на свете, нежели утратить родину». Как это ни странно, это чувство тоски по родине нас, эмигрантов мусульман, сильно отличает от великорусской аристократии. С младенческих лет избалованные родителями и гувернёрами, а во взрослые годы избалованные всевозможными привилегиями, они оказались не способными к серьёзной умственной работе или физическому труду. В эмиграции они в лучшем случае пристроились швейцарами при гостиницах и ресторанах, таксистами или сторожами. Мы же, и у себя на родине привычные к борьбе за существование, не встретили здесь в социальном отношении ничего невыносимого. И мы устроились не в пример лучше, отчего постоянно сталкиваемся с их нескрываемой злобой и завистью. Если мы тоскуем по родным местам и народной среде, они зачастую тоскуют по своим привилегиям, поместьям, а самое главное, по законам Российской Империи, позволяющим свысока глядеть на эмигрировавших инородцев, крестьян, интеллигентов и даже буржуа. Меньше всего их тянет к своему народу, которого они веками презрительно сторонились.

А мы, российские мусульмане, в первые годы наших бесприютных скитаний, к которым мы вовсе не были подготовлены, все мы, верили в своё скорое возвращение домой. Мы добивались чудес, каждый находил лучшее, что у него было заложено в душе, в разуме, в инстинкте, и поднимал это на поверхность сознания в мудрости, красоте и святости. Ведь жизнестойкость – это не умение терпеливо сносить неудачи, нет, это способность всё начинать сначала, не свыкаться со своим поражением, вставать, идти, бороться и побеждать. Тот, кто никогда не сдаётся, никогда не терпит поражения.

Ещё в Тифлисе я женился на любимой Асли. Моими свидетелями были Ахмет и Гайдар, с которым я был тогда ещё дружен. Потом, мы срочно бежали, увы, по-другому не скажешь, от стремительно наступавшей Красной Армии. Вторично были изгнаны, но уже с Кавказа вообще. Немногие из нас всё же остались в Тифлисе и попытались ужиться с большевиками. Среди них и брат моей жены, мой друг Магомет. Вначале это ему вроде неплохо удавалось, но вот уже несколько лет, как от него нет никаких вестей.

У поляков я научился той истине, что жертвы нужно приносить не только и не столько своим правам, сколько своим обязанностям. Пример тому Пилсудский, ответивший агентам Коминтерна, на их упреки в оппортунизме: «Я и вы одновременно сели в один «Красный поезд», но я вышел на станции «Независимость Польши», а вы продолжили путь к станции «Мировая революция». Не по пути нам». В отличие от большевиков, долг перед нацией он поставил выше любопытства экспериментатора. А что мы, что наши деятели? Сто лет назад, в эпоху Умалата и Хасан-Хана, наши предки боролись против надвигающегося настоящего, чтобы всё оставалось по-прежнему, как в добрую старину, бились за древние вольности, не щадя жизни своей. Теперь же наши братья стремительно стремятся в будущее, которое они видят лишь в одном

коммунизме. Всегда мы бежали от настоящего. От одного ли настоящего? Не от себя ли самих мы бежим в прошлое и в будущее? Не от своей ли по сию пору непознанной сути мы стремимся отречься? Ещё новые вопросы, на которые не в моих силах дать ответ. И сколько таких безответных вопросов принесли скитания!

Авторитет Ахмета был незыблем среди нас. Но он умер, и с ним умерло наше единство. В последнюю нашу с ним встречу, за неделю до его кончины, он мне сказал:

– У нас есть песня об умирающем отце, которому сын сказал: «Спи спокойно, отец, я продолжу твою жизнь...». Галип, у меня нет сына, который бы продолжил мою жизнь. И нет человека, который смог бы вас всех мирить после меня.

При последних словах он, верно увидев удивление в моих глазах, пояснил:

– Я знаю о твоих ссорах с Гайдаром и о его распре с Барасби и другими. Эти ссоры ведут нас к краху.

– Но разве осталось хоть что-то способное привести нас к чему-то иному?

– Да, – Ахмет судорожно, но крепко схватил мою руку. – Это – наша вера в нашу миссию, вера в то, что наше дело было начато не зря. Пока жива эта вера, есть надежда.

Я пытался уверить его в том, что все наши противоречия временны и преодолимы, но сам не верил в эти свои слова. Мы не были едины у нас на Родине, стыдно признать, но в изгнании беды лишь разделили нас ещё больше. Только и можем обвинять друг друга в предательстве и трусости. Хотим обелить себя, перекладывая всю вину на другого. Нехорошо. Так мы нескоро вернёмся домой. Причиной всех наших бед является первородный грех всех кавказцев – непомерный индивидуализм.

После смерти Ахмета, одного, кто нас объединял, мы оказались в одиночестве, каждый со своим клубком проблем.

Сначала была борьба меж собой за внимание поляков, затем наши политиканы презрели поляков во имя альянса с немцами и зачастили в Германию. Не понимая связи Баммата с Чермоевым и Байтугана с Бичераховым, этими первостатейными авантюристами (против Бичерахова к тому же я лично воевал с оружием в руках), я смотрю на их трения друг с другом и заигрывания с Берлином, как на чужую шахматную игру. Раньше я глядел на всё это с осуждением и грустью, а теперь – с одним равнодушием.

Ни «Прометей», ни «Кавказ» более не представляют из себя какой-либо силы. Их ждёт жалкое будущее. Союз с немцами против русских – это договор с дьяволом. Освобождение народов Кавказа невозможно вне освобождения великорусского и прочих народов Советского Союза. В данном же случае речь вообще идёт не о какой-либо свободе, тут вероятно лишь одна

замена одной тиранией иной, возможно, даже более ужасной породой тирании.

В годы мирового кризиса на рубеже 20-го и 30-го десятилетий отчаяние было постоянным нашим спутником. Власть большевиков, которую мы полагали непрочной, всё более усиливалась, а наши ряды всё более дробились. Всё меньше интереса к нашим проблемам проявляли великие державы. И чаще на ум приходили мысли о том, что большевики могущественны, как никогда, и Родина, возможно, до самого судного дня, пробудет под их тяжёлой пятой. Неужели вся наша борьба – зряшное дело? Неужели все наши мечты и действия – лишь жатва неминуемой смерти и забвения?

Лишь огромное воодушевление, посещавшее меня при мысли издать, наконец, книгу о моём деде, о мифах и преданиях нашего края и, в не меньшей степени, любовь жены и детей, не дали мне сломаться. Чтобы писать свою книгу я выезжал в Мазовию, на затерянный среди лесов татарский хуторок, где гостил у сослуживца по войне с советами. Там, безмятежный, будто окутанный туманом, необъятный простор равнины вновь придавал мне уверенность в себе, а жалостливое баюканье ветра помогало хотя бы на время забыть о крушении великих надежд.

Сегодня, находясь вдали от родного дома, я понимаю ещё больше – моё стремление вернуться на Родину неразрывно связано со стремлением вернуть её саму моему народу. Любовь к Родине невозможна без любви к Свободе. Когда-то мне казалось, что Свобода – это только освобождение от тяготящих обстоятельств, но теперь я понимаю, что на самом деле это – возобновление подлинных связей, а не разрыв.

Недавно прочёл воспоминания одного из чиновников польского министерства иностранных дел, который писал об эмигрантах из России: «мне было жалко этих изгнанников, в общем, замечательных людей, несмотря на все их недостатки. Грустно видеть, как их гложет ностальгия по тому миру, который отгородился от них. Для них еще более больно вспоминать мир, которого больше не существует. Хотя мы обязаны своим спасением их ожесточённой борьбе против большевиков, они остались для нас чужими...»

Нет, не читал этот бюрократ Джона Донна! «Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе, каждый человек есть часть Материка, часть Суши; и если волной снесёт в море береговой Утёс, меньше станет Европа, и так же, если смочит край мыса или разрушит Замок твой или друга твоего; смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе».

Только сейчас я в полной мере понял смысл удивительной притчи, рассказанной мне, десятилетнему мальчику, моим дедом больше 30 лет назад: «Давным-давно в стране птиц к власти пришёл тиран, и никому из пернатых не было спасения от его жестокости. Когда он совсем замучил своих подданных, они созвали тайное совещание. На это совещание от каждой стаи прилетело по одной птице и всего их собралось числом тридцать, и, посоветовавшись, они решили совместными усилиями найти великую птицу Симург, способную свергнуть тирана, отвоевать им свободу. С этой целью они облетели весь мир от алефа до кафа, но нигде этой

птицы не обнаружили, пока не прилетели на берег чистой, прозрачной реки. И вот когда, изнывая от жажды, все тридцать, разом бросились к воде, то свершилось чудо, они увидели отражение великой птицы Свободы в реке. И тогда они поняли, что долгие странствия и испытания закалили их единство, они сами стали Великим Симургом. Теперь им не страшен никакой тиран, даже все тираны мира вместе взятые. Не прошло после этого и нескольких дней как они уничтожили угнетателя. На языке поэзии выражение «увидеть Симурга» означает – осуществить несбыточную мечту. Само же имя Симург создано путём соединения персидских слов «си» – тридцать и «мург» птица. Что справедливо в этой притче для стаи птиц, в мире людей справедливо для народа, ведь народ, не познавший себя как единое целое и не соединивший свои усилия для борьбы за свою свободу, обречён вечно пребывать в цепях. Лишь путь от самопознания через самоопределение к самореализации сможет привести народ к свободе. Этот путь очень долог, но знай, внучок, только длинная дорога приводит к желанной цели, короткие пути опасны».

В 1933 году мы попытались объединиться, даже собрались в Варшаве чудным апрельским вечером. Приехали Урхан Тарковский, Саид Шамиль, Байтуган, Герей Суюнч, Хуршилов, Юсуп Умашев, Ибрагим Чуликов, Жанбек. Бамматов не приехал. Слишком сильна была их неприязнь с Байтуганом. Впрочем, Гайдар отдалился от нас всех. Он же северо-кавказский президент, а мы, по его мнению, лишь самозванцы. Себя одного он ставит выше нас вместе взятых. Будь мы все едины... Будь мы все едины тогда, двадцать лет тому назад, у нас бы вышло, у нас бы всё получилось!

В тот чудный день мы подняли ряд вопросов. В том числе проблему языка, которую тут же благополучно разрешили в пользу признания будущим государственным языком свободной Северо-Кавказской республики кумыкского языка. На словах мы были сильны. Казалось, протянем руку – и вот она, Родина. Принимали решения один за одним. Принимали, чтобы ничего не делать. Всё свелось к пустым декларациям. Зато сколько было пафоса! Я не слышал такого изобилия громких слов и клятв с тех пор, как в первый раз посетил заседание горского меджлиса в гостинице «Ориент» . И всё же, какие милые, славные люди! Когда мы ещё соберёмся и под какими знамёнами?

Двадцать лет назад мы тщились создать своё государство, не познав самих себя. Мы слишком поздно вышли в путь и слишком рано сбились с дороги. И самое печальное: все несчастья, выпавшие на нашу долю, так нас и не сплотили. Мы пока ещё не Великий Симург.

Мне кажется, получилась все же не совсем та книга, о которой говорил профессор Седлецкий, но это – моя книга. Не знаю, будет ли она интересна кому-либо еще, но написать ее все же стоило. Это как разговор с самим собой, который многое проясняет в делах уже давно минувших и в делах предстоящих.

В прошлом году я по приглашению Джабагиева побывал в Турции и проникся большой симпатией к её трудолюбивому народу, первому в этом веке среди мусульман добившемуся

свободы от колониализма, завёл там друзей среди представителей кавказской диаспоры, которые согласились оказать помощь моей семье, если начнётся война с Германией. Сам я в случае войны никуда не намерен из Польши уезжать, ибо эта страна стала моей второй Родиной и я в долгу перед ней. Я желаю защищать её от врагов наравне с моими верными друзьями – польскими патриотами. И, в конце концов, мне надоело отступать.

Как пел Темир-Булат:

В кувшинах мы были мёдом,
У вод мы были стройными вербами,
Мёд наш, что был в кувшинах,
Пришли и дворняжки-собаки вылакали.
У вод стоящие наши вербы
Неблагодарные, недостойные пришли и обрубали.
Разделив надвое, напали на наш эль.
Многих собак одолевшие мы волки,
И нас самих ещё на многих врагов хватит.

Эх, Темир-Булат, где ты, мой Учитель и Друг? Жив ли ты? Ты всегда видел дальше и больше других и потому не страдал обманом зрения.

С годами я своими воспоминаниями и сновидениями всё больше вырастаю в ушедшую юность. Надо вспомнить молодые годы, наши славные бои против дашнако-бичераховцев и деникинцев, когда все друзья были вместе. Вспомнить не только разумом, но и духом, и телом. Надо побороться. Меня успокаивает осенившая меня после написания воспоминаний мысль о том, что существующее сейчас, это всегда повторение чего-то бывшего ранее. И я такое же повторение. Наш путь всё же не ведёт в тупик и забвение. Когда-нибудь кто-нибудь другой вновь вступит на него и пройдёт его до самой победы.

В конце своей книжки я хотел бы привести отрывок из своего письма к брату. Жив ли он? Даже этого я не ведаю. Советы стали более тюрьмой народов, нежели царская Россия, из которой хотя бы было возможно выехать, отправить весточку.

Но вот самый текст: «Салам алейкум, брат, как поживаете, ты и твоё семейство? Как мои племянники? У нас всё хорошо. Польша – прекрасная страна, которая нашла своё место в сообществе великих наций. Брат мой, ты спрашиваешь меня, почему я ответил отказом на приглашение Джелал эд-Дина вернуться в Дагестан. По-твоему я поступил опрометчиво. Я убеждён в ином. Опыт общения с Темир-Булатом, Рашид-Ханом, Зайналом, Уллу-Бием, Ахметом и с самим Джелалом, позволил мне сделать вывод: мужество разума не в серьёзности и в глубине мыслей, а в отваге мыслить до конца. Потому и я не отступлюсь от однажды избранного мною пути.

Наши леса – могучие кара-агачи , наши бурные и непокорные Солак и Терк-Су, наши

древние и таинственные курганы являются абсолютно верными символами нестигаемого характера наших предков. Сила, подобная их силе – это единственное, что может даровать свободу. Я имею в виду не железо и кровь, а силу воли, силу характера, силу сплоченности. Возможно ли с такими идеалами жить под властью большевизма? Брат мой, надеюсь, ты не забыл слова нашего деда: «Самая большая победа – это оставаться самим собой, несмотря ни на какие обстоятельства». Тот, кто принимает условия, унижающие его достоинство, теряет своё лицо и не получает ничего взамен. Когда под угрозу ставится то, что ты уважал и ценил, надо защищать эти ценности с той же страстью, с какой ты прежде их любил.

Я не призываю тебя покинуть Родину. Нет. Сегодня ты прав более, чем я. Как говорил Сырчан Половецкий: «Лучше у себя на родине костыми лечь, чем на чужбине...» Ошибку ты сделал в 1919 г., когда присоединился к сторонникам большевиков. Понимаю – это был твой выбор, ты не шёл против своей совести, тогда это казалось тебе наиболее правильным решением. Но отсюда видно, во что превращается ваша мечта о равенстве и братстве народов. СССР – это новая редакция всё той же тюрьмы народов. Иначе бы Бухаре, как и раньше того Грузии, было бы позволено повторить судьбу Польши или Финляндии. Время и дальнейший ход событий будут лучшими учителями, чем я. Надеюсь, судьба ещё предоставит нам возможность свидеться.

Твой брат, Галип».

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Несмотря на грустные итоги гражданской войны, изгнание и предчувствие катастрофы сентября 1939 года, Галип Акаев сохранил некий духоподъёмный оптимизм, веру в смысл своей миссии. Возможно, кто-то в этом усомнится и с точки зрения своего понимания человеческой миссии, как мещанского благополучия, сводящейся к триаде «дом, сын, дерево», осудит его максимализм, его борьбу за обречённое на погибель дело. Но разве не может быть высшего смысла и назидания даже в поражении?

Замечательное предание о Симурге, поведанное Галипом Первым своему внуку, мной понимается не только в том ключе, как это воспринимается Галипом Вторым-Акаевым, но и с точки зрения, современных, не известных тогда компьютерных технологий. Сейчас почти всем известно содержание понятия «голограмма». Голограмма представляет собой явление, в котором «целое» содержится в каждой из его составляющих. Например, морская звезда обладает определённым голографическим эффектом. Если у неё отрезать какую-то часть, она отрастёт по новой. Более того, из отрезанной части может вырасти новая морская звезда: её генетический код заложен в каждой её части.

Мне кажется, автору воспоминаний особенно удавались пейзажи, потому как он глубоко чувствовал красоту природы и ощущал себя её естественной частичкой. Неизменными остаются не только горы, холмы, береговая черта, неизменными остаются и те мысли и идеи, которые мы носим в себе. Они унаследованы нами из древности, хотя нам самим не всегда это очевидно. Хочется верить, что наш народ сохранил свой генетический код, свой ключ к будущему возрождению.

Издатель